

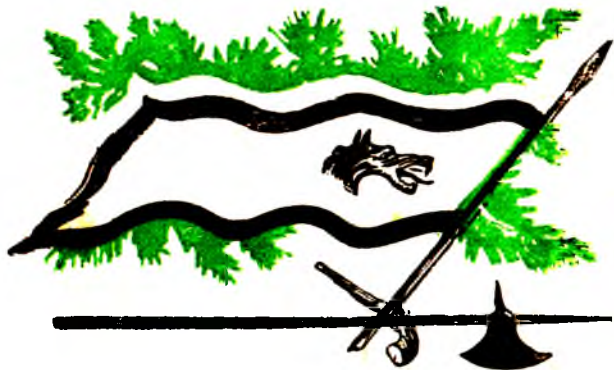
И. 77

Славянская библиотека

Р 34584

АЛОНС ПРАСЕК

ПСОГЛАВЦЫ



ОГИЗ ГОСЛИТИЗДАТ 1945



С л а в я н с к а я б и б л и о т е к а

АЛОИС ИРАСЕК

ПСОГЛАВЦЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

перевод с чешского
А. Гуревича

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1915

С незапамятных времён естественной защитой Чешского королевства служили дремучие леса, простиравшиеся от пограничных гор далеко в глубь страны.

Проходы через порубежную чащу охраняла особая стража. Часть Шумавского хребта и важнейшие дороги, ведущие из немецких земель к городу Домажлицам, сторожили ходы — мужественные и закалённые хранители чешских границ.

Деревни их были раскиданы и в долинах, и по склонам гор, но между ними и границей всегда высились, как бастионы, горные кряжи или гряды холмов.

На юго-восток от Домажлиц, близ Вшерубского перевала, лежали селения Льгота и Поциновицы; к северо-западу, между вшерубской и бродской дорогами, были расположены деревни Кичев, Медаков, Тлумачев и Страж, а еще дальше в северо-западном направлении, вдоль дороги на Мюнхен, — Уезд, Дражинов, Постшеков, Ходов и Кленеч.

Когда были поселены здесь чешские пограничники, получившие название ходов, точно неизвестно. Но известно, что они отважно защищали все проходы и тропы от вражеских вторжений и участвовали во всех боях, происходивших в их собственном крае

или в соседних местах. Они помогли князю Вратиславу наголову разбить немцев у Брудека и доблестно сражались за родину в последующие времена, особенно в славную эпоху гуситских войн.

В мирное время они ходили вдоль рубежа (отсюда и «ходы») и следили, чтобы немцы не нарушали чешских границ, не рубили самовольно чешских лесов и не охотились в них. Часто дело доходило до кровавых схваток с баварскими, в особенности с брудскими порубщиками и браконьерами. Верными помощниками ходов в их сторожевой службе были большие и сильные псы, а верным другом — тяжёлый чекан, которому они не изменили, даже когда у них появились пищали и ружья. Ходы носили оружие даже в те времена, когда это запрещалось всему остальному населению Чешского королевства.

Когда чешский король проезжал по ходскому краю, ходы встречали его в полном вооружении, со знаменем, на котором красовался их герб — песья голова (от этого герба и идёт их прозвище «псоглавцы»). По старинному обычаю они подносили королю бочёнок мёда и провожали его как почётная стража по ту сторону границы.

В награду за свою опасную и трудную службу ходы пользовались особыми правами и привилегиями.

Они были свободными людьми, подчинёнными непосредственно самому королю. Дворяне не имели права селиться на ходских землях или покупать их. Ходы не знали крепостного права, тяжёлыми цепями сковавшего остальное сельское население. Они свободно охотились в охраняемых ими лесах, меряясь силами с волками и медведями, которых было на Шумаве великое множество ещё в XVII веке. Они могли безвозбранно заниматься у себя в крае любыми ремёслами и были освобождены от податей и пошлин по всему королевству.

У ходов был свой суд, вершивший дела по обычному ходскому праву и состоявший из назначенного королевской властью судьи и представителей ходских деревень. Этот суд заседал каждое четвертое воскресенье в ходском замке-крепости в Домажлицах.

Крепость была резиденцией домажлицкого гетмана, ходского судьи и ходского присяжного писаря. Там же ходы хранили своё знамя, свою печать и жалованшые грамоты, полученные от Иоанна Люксембургского, Карла IV, Вацлава IV, Юрия Подебрада и других королей. В крепость, в случае опасности, они собирались с оружием в руках; под защиту её стен они отправляли во время войны своих жён и детей.

В последний раз ходы несли свою службу в роковом для Чехии 1620 году. Они заградили засеками все дороги к баварской границе, а король Фридрих Однозимний строжайше приказал, «чтобы они, согласно своей повинности и по порядку очереди от каждого отдельного селения, не только днём, но и ночью бдительно охраняли и защищали эти места от внезапных нападений врага, пребывая там до установленного часа и никуда не отлучаясь до назначенного времени ни днём, ни ночью, и чтобы сделали себе надлежащее воинское знамя, одним человеком носимое, и знамени тому присягнули. А чтобы на этих сторожевых постах лучший порядок поддерживался, пребывать на них один день судье, а другой день писарю...»

В последний раз перекликались тогда в шумавских лесах ходские часовые, в последний раз реяло над головами доблестных хранителей чешской границы окаймлённое чёрным белое знамя с песьей головой.

Грянула битва у Белой Горы¹.

¹ Битва у Белой Горы под Прагой 8 ноября 1620 года, последствием которой было трехсотлетнее порабощение Чехии Габсбургами. После смерти императора Матиаса

Разлив всеобщего бедствия захлестнул и ходский край. Через шесть недель после староградских казней императорский наместник Карл фон Лихтенштейн за 7 500 золотых «заложил» вольных ходов гофрату Вольфу-Вильгельму Ламмингеру барону фон Альбенрейт, который в качестве императорского комиссара, был одним из главных распорядителей трагического действия 21 июня 1621 года. А девять лет спустя за 56 000 золотых ходы были уже проданы тому же Ламмингеру в полное и потомственное владение.

Барон фон Альбенрейт не признавал, конечно, ходских вольностей и объявил купленных им ходов обыкновенными крепостными.

Ходы начали упорную борьбу. Свободолюбивые люди стойко защищали свои права против немецкого насилия и беззакония. Больше шестидесяти лет длилась эта неравная борьба. Порою вспыхивала искра надежды, и ходы думали, что им удастся выиграть тяжбу при венском дворе, но выиграл её окончательно и бесповоротно наследник Ламмингера, его сын Максимилиан. Ходам было вновь объявлено, что права их потеряли силу, а сами они обязаны, под страхом строгой кары, хранить *perpetuum silentium* — вечное молчание!

Это было в 1668 году.

Молчание действительно воцарилось в ходском

чешский сейм объявил его преемника Фердинанда II Габсбургского лишённым чешского королевского трона и избрал на его место курфюрста Пфальцского Фридриха, ревностного сторонника протестантизма. Фердинанд собрал огромное войско и нанёс чехам решительное поражение у Белой Горы. Фридрих бежал из страны, в которой он провёл одну зиму, откуда и пошло его прозвище «Однозимний». Через полгода, 21 июня 1621 года, в Праге на Староградской площади были обезглавлены руководители чешского национального движения, после чего по всей Чехии началась свирепая «германизация».

крае. Гробовое молчание. Его не нарушило даже разразившееся в 1680 году по всей Чехии грозное крестьянское восстание.

Но вечным оно всё же не было. Ходы нарушили его. И здесь начинается наш рассказ.

I

Ранние ноябрьские сумерки спустились па горы и доли и окутали тьмой весь край у подножия крутого Черхова и уходящего вдаль хребта Гальтравы. Тяжёлые чёрные тучи проносились над вершинами гор, вздымавшихся над притихшим краем исполинской стеной, теряющейся в поднебесьи.

Тучи предвещали бурю.

Владыкой надо всем был вихрь — над тучами и над землёй, где всё дрожало перед ним — и одинокое дерево среди поля, и вековые стволы в дремучей чаще на склонах гор. Старые и молодые берёзы, сплошным покровом одевшие островерхий Градек над деревней Уездом, жалобно стонали и гнулись, а вихрь обнажал их, со злобой срывал с них последние листья и в бешеном порыве гнал золотистые клочки в чёрную мглу. На соседней вершине гудел дубовый лес. Потрясая шапками, дубы противились вихрю, и вихрь, стремительно вырываясь из леса, нёсся вниз на беззащитную деревню, прилепившуюся к Градеку как одинокое гнездо.

Качались и вздыхали деревья на улицах и во дворах Уезда. Громче всех жаловалась столетняя липа на широком дворе у Козины, а журавль у колодца под липой отчаянно скрипел и визжал, но всё тонуло в вое ветра, свирепствовавшего в густых ветвях старого дерева.

В доме горел огонь. Тусклый свет, пробивавшийся во двор сквозь низенькое оконце, упал на взметнув-

шийся внезапно столб жёлтых листьев; вихрь яростно закружил их, подхватил и в одно мгновение унёс в тёмную высь. И когда он, словно взбесившись, заревел и засвистал с особенной злобой, в горнице мелькнули неясные очертания человеческой фигуры, затем приоткрылось окно. Обнажённые женские руки выставили наружу небольшую миску, и тотчас же над миской за клубилось белое облачко; за клубилось и, точно рой снежинок, развеялось по ветру, в жертву которому было назначено. Рыдающая Мелюзина¹ жадно поглотила муку, которая должна была её умилоствивить, ещё раз застонала и ринулась дальше во тьму.

Окно закрылось, тень за окном исчезла.

На дворе попрежнему царило ненастье. Но в доме, в просторной горнице было тепло и уютно. В очаге потрескивали смолистые поленья. Ярко горела воткнутая в чёрный светец лучина, освещающая женщину, которая, принеся жертву Мелюзине, отошла от окна и поставила миску на простую некрашеную полку.

Это была хозяйка дома, молодая, стройная и красивая женщина; особенную прелесть её лицу придавал открытый взгляд карих глаз и прямой гордый нос. На ней был обычный наряд — юбка и безрукавка поверх сорочки, голова была повязана пестрым платком.

Поставив миску на полку, она уселась на стул подле расписной кровати с пологом и, взявшись за толстый шнур, стала раскачивать подвешенную к потолку холщёвую люльку равномерным, лёгким движением, напевая вполголоса:

¹ Мелюзина — героиня древнего сказания, за грех против отца превращённая в змея, который носится в вихре.

Бай, бай, детка,
Малолетка,
Ты б уж спала да молчала,
Своей маме не мешала...

За окном ей вторила буря. Вой ветра и стоны деревьев сливались в один сплошной рёв, от которого дребезжали оконные стёкла. Но молодая мать продолжала петь свою колыбельную песенку. Впрочем, песенку прерывали не только завывания ветра: из-под полога над кроватью доносился громкий шопот и приглушённый смех. Долго сдерживаемый смех вырвался, наконец, наружу и зазвенел, весёлый и ясный, как серебряный колокольчик. Другой, более грубый голос тотчас же зацыкал, а хозяйка прикрикнула:— Потише там, дайте Ганалке заснуть! — И, покачивая люльку, она снова запела:

Не заснёшь же, голубочек,
Бросим детку в омуточек;
Там тебя в волнах Дуная
Словит нечисть водяная!..

Маленькая Ганалка глядела в одну точку и удовлетворённо мурлыкала — чем дальше, тем тише, пока не умолкла. Качнув люльку ещё раза два, мать отпустила шнур и направилась к кровати; в тот же миг из-под полога показался хозяин, забавлявшийся там с сынишкой.

Это был высокий, статный крестьянин лет тридцати, с длинными тёмнорусыми волосами. Он заложил их за уши, чтобы они не падали на лицо, и, улыбаясь, глядел на жену. А трёхлетний мальчуган в рубашонке, круглолицый, с пылающими, как угли, глазами, цеплялся за плечи отца и звал мать под полог.

— Тише вы, разбойники! — с притворной суровостью отозвалась хозяйка. — Давно спать пора. Ложись, Павлик! Живо! Смотри, Ганалка уже спит.

— И как крепко спит!— рассмеялся отец, указывая на люльку, из которой высывалась прелестная белокурая головка двухлетней девочки. Свет рдеющей лучины рассыпал золотые блёстки на её кудрях.

Молодой Сладкий, прозванный Козиной, подошёл к люлке. Он был в коротких кожаных штанах до колен, высоких чулках и тяжёлых башмаках; рубаша с широкими рукавами была распахнута на груди. Козина протянул руки к дочурке, высоко поднял её и понёс, шая и лаская, к постели; все его движения обличали силу и ловкость. На постели собралась теперь вся семья — развеселившиеся ребятишки, карабкающиеся на плечи отца, и смеющиеся вместе с ними родители.

Счастье досталось им не без боя. Когда четыре года тому назад Козина, уже давно самостоятельный хозяин, поведал матери, кто его избранница, старая Козиниха сначала и слышать об этом не хотела. Девушка была, правда, красивая, но из бедной усадьбы, и не такую невестку думала старуха видеть в доме Козин; правда, должность старосты не передавалась больше от отца к сыну в их роде, но всё же он принадлежал к числу наиболее уважаемых в ходском крае, и дом Козин попрежнему был окружён почётом. Ведь каждый ребёнок знал, за что немцы, новые паны, сместили деда Козины: он не захотел плясать под их дудку и итти против своих.

Но в конце концов старухе пришлось сдаться.

— Яблоко от яблони недалеко падает,— говорила она про сына.— Настоящий Козина, упрямяк, как бык. Только как бы Ганка не связала его по рукам и ногам...

Весёлый вольничек Жегурек, по прозвищу Искра, смеясь, отвечал:

— Не свяжет! Как голубки будут жить! Помните моё слово!

Ещё бы ему не предсказывать, когда он был постоянным поверенным всех тайн молодого хозяина и каждый день бегал от одного влюблённого к другому. Но так или иначе, а предсказание его сбылось.

Молодой Козина и Ганка действительно жили, как два голубка, и не полгода, не год, как часто бывает на свете, а вот уже пятое лето. Козина чувствовал себя счастливым, и чем дальше, тем больше. Сидеть дома с женой и с детьми, шалить и забавляться с ними — лучшего он не желал. В деревне на него начинали злиться за то, что он почти не появлялся в мужской компании, не приходил даже выпить кружку пива и покалякать о том о сём.

Разве только с вольничком Искрой Жегуреком он всегда непрочь был встретиться и потолковать где-нибудь в поле, на опушке леса или в воскресный день у себя во дворе.

Да, не узнать было молодого Сладкого. Когда-то он любил шататься по целым ночам, бродил по лесу с ружьём и тенётами, рыл волчьи ямы и всегда готов был подстроить какую-нибудь штуку ненавистным немецким панам. А женился — присмирел, как ягнёнок.

И когда от новых господ получался приказ — привезти дрова или сено, он молча выслушивал приказание и отправлял подводу. А прежде он, как и все в ходском крае, раздражался бранью и отказывался.

Старая Козиниха в такие минуты, сжав губы, сурово и мрачно смотрела на сына. Нередко она жаловалась своему старшему брату, Грубому из Дражинова, когда он заглядывал к ней:

— Нет! Это не Козина. Не в отца пошёл. У него только жена на уме.

Жена и дети — правильное было бы сказать. Так, по крайней мере, казалось сейчас, когда всё семейство, не слушая завываний бури, веселилось на кро-

вати под пологом, и Козина от всей души хохотал вместе с детьми, расшалившимися точно котятка.

Вдруг он поднял голову и прислушался. Одновременно старый Волк очнулся от дремоты, выско-чил из-под стола и громко залаял.

— На посиделки собираются,— заметила Ганка, беря на руки дочку. На этой неделе молодёжь соби-ралась на посиделки у соседа Козин.

— Нет, кто-то к нам,— ответил Козина, и как бы в подтверждение его слов раздался стук в дверь.

Козина вышел в сени. Через мгновение загредел засов, и в горницу ворвался мужской голос, распе-вавший:

На уездском Градеке сладко поёт пташечка...

Потом что-то громко сказал Козина, заглушая го-лос певца; но певец не сдался и продолжал:

Ах, как славно распевает! Звуки песни
Льются, льются, залетая к нам в ворота...

С песней вошёл он в горницу, остановился у по-рога и поклонился хозяйке. Маленький Павел встре-тил его радостным возгласом, а хозяйка приветливо закивала головой:

— Заходи, заходи, Искра! Только сейчас из го-рода? Поздновато. Достанется тебе от Дорлы.

— Ну, и пусть. Будет Дорла хреном, будет Искра перцем.

И, поправив свой инструмент, висевший у него на ремне через плечо, волычник лукаво улыбнулся.

— Что-то очень уж ты весел,— заметил хозяин.

— Как же мне не веселиться, если ветер на дво-ре распевает во всё горло, так и заливаётся! Ну, и дорожка была, истинное наказание божеское! Мех мой надувало ветром, волынка сама играла. Музыка была такая, что я всё время скакал и прыгал с

камня на камель, из лужи в грязь, только брызги разлетались...

Искра Жегурек положил волынку на скамью и уселся сам, не снимая с головы барашковой шапки с малиновым допышком. На его круглом, гладком лице с ямочкой на подбородке всё ещё играла улыбка. Улыбались, собственно, только его весёлые плутовские глаза. Он был почти ровесником молодого хозяина — может быть, на два, на три года старше.

Хозяйка тем временем принесла соли и большой каравай хлеба, обёрнутый чистым полотенцем.

— Режь да ешь, — пригласила она гостя.

— Что нового в городе? — спросил Козина.

— Нового? Да ничего. Сидели там в корчме двое каких-то, как будто из городского магистрата, и говорили, что немцы расспрашивали про нас. Твой дядька из Дражицова тоже был там и слышал эти разговоры.

— Про что расспрашивали? — взволновался хозяин.

— Про ходские права. Искали в магистрате те грамоты — знаешь, что хранились раньше в нашей крепости.

— Да кто искал?

— Ну, управители немецкие — Кош из Кута и тргановский тоже. Те двое из магистрата хохотали над нами доупаду: хватили рылом мыла! Не знаю, как там было дело, только Кош, говорят, топал ногами и орал, что тргановский пан покажет ходам...

Волынщик умолк, но потом вспомнил ещё что-то и добавил:

— Один из этих там в корчме очень хорошо объяснял, что наши ходские права до сих пор имеют полную силу. Да! А старик Ломикар¹, да и теперешний

¹ Ходское искажение фамилии Ламмингер.

молодой только издевались над ходами, когда те толковали о грамотах!

Хозяйка слушала, затаив дыхание, и не заметила, что маленький Павел, соскользнув с постели, подобрался к вольтке и погрузился в восторженное созерцание украшавшего её чудесного козлика. Сначала он только любовался им, потом потрогал мягкую шерсть, глаза и сверкающие блёстки, которыми Искра украсил лоб козлика между рожками. Но тут мальчугана заметила мать. Отец же продолжал смотреть в землю и поднял глаза только, когда вольтник окончательно умолк.

— Когда это было, Искра?— спросил он.

— Третьего дня, должно...

— Не вышло бы опять какой беды,— озабоченно вздохнула молодая жещина.

— Я так думаю, что...— начал было вольтник, но ему не пришлось докончить: старый Волк внезапно вскочил на ноги и залился лаем.

Козина подошёл к окну. Он всматривался в темноту, но ничего и никого не видел. Постояв с минутой, он вышел на крыльцо.

Искра посадил маленького Павла к себе на колени и собирался показать ему, как надо дуть в вольтку, но в это время хозяйка тронула его за плечо.

— Слушай, Искра,— начала она.— Ты видел, как задумчив был Козина, когда ты рассказывал? И такое на него теперь находит чуть не каждый день. Так, просто—ни с того ни с сего. Вот он весел, говорит, смеётся, и вдруг сразу—словно оборвалось. И мне всё кажется, что ему что-то запало в душу и легло камнем на сердце... А может быть, я ему уже не любя, и он уже жалеет, что...

— Не мели вздор!— перебил её вольтник.— Жалеет? И не жалеет, и не пожалеет, можешь мне поверить. Об этом тебе нечего тужить.

— Да ведь ты сам знаешь: счастливый, что богат,— боится за свои богатства... Ну, а если не это, так что же?

— Ну и мысли лезут людям в голову! Увидишь, всё это пройдёт!

— Дай бог!..— вздохнула молодая женщина, немного успокоенная словами Искры. И тут же невольно рассмеялась, когда её малыш с помощью Искры извлёк из вольнки несколько визгливых звуков.

Тем временем молодой Козина, стоя на крыльце, внимательно оглядывал двор. Кто-то здесь был— это несомненно, иначе чуткий Волк не залаял бы. Темень была— хоть глаз выколи, и ветер всё ещё завывал так, что мудрено было что-нибудь услышать. И всё же!.. Кто-то постучал в окно: там, напротив, через двор, в домике, где жила его старуха-мать. Она, должно быть, уже спала— в домике было темно. Но вот в окне мелькнул огонёк, и вскоре при красноватом отблеске лучины, слабо осветившем двор, можно было различить две мужские фигуры. Мужчины нетерпеливо ждали, пока им откроют, потом исчезли в дверях.

Козина с минуту стоял в нерешительности. Из горницы доносились плачущие звуки вольнки, но молодой крестьянин их не слышал. Он зашагал через двор к домику матери. Попробовал толкнуть дверь. Она была заперта. Согнувшись вдвое, он тихонько подошёл к окну и заглянул внутрь. В горнице была его мать в накинутом на плечи кожухе и оба её гостя. Один из них вынул из-под плаща какой-то не то сундучок, не то ларец. Другой приподнял крышку и, вытащив что-то гладкое, блестящее, как серебро, показал старухе.

Но тут Козине пришлось поспешно отскочить от окна. С крыльца послышался голос его жены, которой показалось странным, что в эту погоду он так долго остаётся во дворе.

— Никого нет. Зря набрехал Волк,— сказал Ковина, направляясь к крыльцу.

— А зачем ты ходил к матери?

— Посмотреть хотел. У неё ещё свет горит. Ока-зывается, богу молится.

— Ну, иди скорей в дом. Холодина такая, что у меня зуб на зуб не попадает. Да и Искра уже собирается домой. Павлик клянчит у него во-лынку...

Супруги вернулись в горницу.

Искра тем временем занялся Ганалкой. Он носил её на руках по комнате, убаюкивая тихой песенкой. Девчурка устала на него, но мало-помалу глаза её стали слипаться, и, наконец, она уснула. Воляничик бережно уложил её в люльку.

— А из тебя бы вышел неплохой отец,— шутя заметила хозяйка.

— Да уж наверное, вот только аист к нам дороги не найдёт,— ответил воляничик и добавил усмехаясь:— А ведь тогда, пожалуй, Дорла меньше бы меня пилила...

И сказав, что ему надо ещё поиграть на посиделках, чтобы заработать жене шерсти на пряжу, он взял волянку, которую Павлику очень не хотелось выпускать из рук, и пожелал хозяевам доброй ночи. Козина пошёл проводить его и, выйдя вместе с ним на крыльцо, шопотом спросил Искру, возвращался ли он из города вместе с дражиновским Грубым.

— Нет, он остался в корчме. Подсел к тем двум из магистрата и о чём-то стал шептаться с ними. О чём — не знаю, я ничего не разобрал. А теперь слушай, вот что я тебе скажу. Ганка мне жаловалась, что ты какой-то странный стал. Она, бедняга, думает, что ты разлюбил её: задумывается, дескать, молчит, словно на сердце у него тоска... Да будь у меня такая жена, я бы с утра до вечера веселился и смеялся, и всё на свете было бы мне трын-трава.

Так-то, брат! Что ты в самом деле выдумал? Жена-то в чём виновата? Что с возу упало, то пропало...

И, кивнув Козине, Искра скрылся во тьме. Козина продолжал стоять на крыльце, всматриваясь в окно напротив. У матери ещё горел тусклый свет. Поздние гости ещё сидели у неё. Козина хотел было опять подойти к окну, но передумал и вошёл в сени. Из горницы донёсся нежный голос его жены, допевающей песенку:

...Своей маме не мешала...

Только теперь дошли до его сознания слова вольпшика, которого он, занятый другими мыслями, слушал только краем уха. Привычный голос жены прозвучал для него так же сладостно, как в те времена, когда она ещё девушкой распевала песенки у себя на огороде, а он, притаившись у забора, подслушивал её. Так свежо, так нежно звучал её голос, а когда он увидел, как она сидит над уснувшей девчуркой, мрачные думы рассеялись, лицо его прояснилось, и он невольно улыбнулся жене...

В эту ночь молодая женщина заснула успокоенная, с лёгким сердцем. Догоревшая лучина ещё тлела некоторое время, потом погасла, и комната погрузилась во мрак. Спали все, кроме хозяина, который, лёжа рядом с сынишкой, не мог сомкнуть глаз. Его снова грызли прежние мысли. Он слышал дыхание сынишки, спавшего крепким, здоровым сном, слышал ровное дыхание жены и Ганалки; прежде это дыхание убаюкивало Козину, теперь он слышал, но не замечал его. А между тем он напрягал свой слух: он ждал, не придёт ли мать, не постучит ли, не вызовет ли его. Но всё было тихо. Он не выдержал, встал и подошёл к окну.

Напротив у матери всё ещё горел свет.

Он всё стоял и ждал...

Старая Козиниха лежала в постели, но ещё не спала, когда к ней постучались те два гостя, которых видел её сын. Набросивши длинный козух, крытый коричневым сукном, она вышла в сени.

— Прохожие,— отозвался на её вопрос один из пришельцев, и она узнала голос своего брата.

Это был Криштоф Грубый, дражиновский староста, высокий, немного сутуловатый, но крепкий мужчина. Он был в широком плаще; в правой руке он держал тяжёлый чекан, на рукояти которого при свете зажжённой лучины поблескивали медные насечки. Войдя в горницу, он поставил на невысокий стол из белого клёна окованный железом дубовый ларец. Когда он снял с головы высокую барашковую шапку, лучина осветила его морщинистое, но бодрое и свежее, невольно внушавшее к себе уважение лицо. Длинные, сильно тронутые сединой волосы падали ему на плечи и только на лбу были подстрижены под гребёнку. Орлиный нос и всё ещё живые глаза, во взгляде которых чувствовались твёрдость и сознание собственного достоинства, придавали особое благородство внешности старика.

Рядом с ним совсем маленьким казался его спутник, уездский староста Юрий Сыка. Это был человек небольшого роста, но коренастый и широкоплечий. Одет он был в белый жупан с чёрной оторочкой; из-под тяжёлой широкополой шляпы на плечи ему падали густые тёмнорусые волосы.

Старая Козиниха с изумлением глядела на неожиданных гостей. Но она не произнесла ни слова и спокойно ждала, что скажут они. Брат её приступил к делу без околичностей. Он коротко рассказал, что был сегодня в городе и там от двух членов магистрата доподлинно узнал, что немцы справлялись о ходских грамотах; прежде эти грамоты хранились

в ходской крепости, а теперь, по мнению панов, их надо искать в городском магистрате. Немцы пытались выведать всё тайком через управителя Коша, но магистратские, как и все здесь, не очень-то любят тргановских панов и охотно рассказали о немецких происках дражиновскому старосте. И Грубый, не заходя домой, отправился из города прямым путём в Уезд. В Уезде, который с незапамятных времён считался надёжнейшим оплотом ходов, у старосты хранилось драгоценнейшее сокровище псоглавцев — их писанные привилегии. Привилегии перекочевали в Уезд с тех пор, как ходов продали старому Ламмингеру. Тогда несколько ходских старшин, в том числе прадед Козины, во-время вспомнив о грамотах, поспешили в город просить домажлицкий магистрат, чтобы грамоты отдали им¹.

— Что ж, вас у нас отняли, так возьмите с собой и ваши грамоты. Лучше пусть будут у вас, чем у этого немца! — сказали члены магистрата и пустили ходов в крепостное подземелье, где хранился ларец с их документами.

Нередко дубовому ларцу приходилось странствовать из одной деревни в другую, так как новые паны, хотя и не признавали ходских привилегий, но упорно искали грамоты. Ларец, в котором хранилась под ключом драгоценная свобода, прятали в надёжном месте то у одного, то у другого ходского старосты, но настоящее её место было в Уезде. Так повелось с того рокового дня, когда ходам было предписано вечное молчание — *perpetuum silentium*.

Немцы как будто перестали интересоваться этими грамотами или забыли о них. И вдруг словно гром среди ясного неба — опять они ищут их. Вот

¹ В 1585 г. король Рудольф на 60 лет передал управление ходами городу Домажлицы в обеспечение полученного им займа в размере 37 142 копы.

Что рассказывали ходские старосты во вдовьем домике старой крестьянке, которая слушала их, стараясь не проронить ни слова. На лице Козинихи, по которому нетрудно было догадаться, что она доводится сестрой Криштофу Грубому, не отражалось ни страха, ни беспокойства. Наоборот, складки на либу разгладились и глаза загорелись радостью.

— Видно, наши грамоты чего-нибудь да стоят,— произнесла она, и по лицу её скользнула хитрая усмешка.— И вы правильно сделали. Принесли их мне, женщине... Что ж, я их припрячу как следует, а искать в моей хижине никому и в голову не придёт.

Тем временем Сыка, вытащив из кармана своего камзола небольшой ключик, отпер ларец и вынул оттуда прежде всего печать, величиною с талер, на короткой серебряной цепочке. Дражиновский староста с сестрой, склонившись над ларцом, глядели на обёрнутые в бумагу и аккуратно уложенные свитки пергамента. Сыка вынимал их один за другим и клал на стол. Ведь он сдавал их, а потому считал нужным и для себя, и для других развернуть и проверить все документы. Сам он хранил их много лет и потратил не один ночной час, пока перечитал их все — и те, что были писаны по-чешски, и те, что по-латыни, последние — по переводам, сделанным когда-то в лучшие, более свободные времена.

Грамотей Сыка, пользовавшийся у своих славой «прокуратора», то есть опытного адвоката, разложил по порядку все ходские свободы, все грамоты, начиная от самой древней и кончая грамотой короля Матиаса. В скромной горнице, освещённые огнём соеновой лучины, лежали теперь эти тщательно сложенные, перевязанные лентами, побуревшие по краям, захватанные по углам пальцами, старые, пожелтевшие пергаментные свитки. Огромные печати висели на шёлковых шнурах когда-то белого и красного

цвета; несколько столетий перекрасили белый цвет в желтоватый, а у красного высосали всю его яркость. Печати все хорошо сохранились: и самая старая из некрашеного воска, на которой изображён был Иоанн Люксембургский, верхом на коне, в полном рыцарском вооружении, с мечом в правой руке и щитом на левой, и печати остальных королей — Карла, Вацлава, Юрия, Владислава, Фердинанда, Максимилиана, Рудольфа и Матиаса; две последние алели ярче всех.

Все трое застыли в созерцании столетних грамот, которые знали лучшие времена, а теперь стали свидетелями горя и унижения. Сыка ещё раз перебрал все грамоты одну за другой, как бы пересчитывая их, и сказал, обращаясь к Грубому:

— Все здесь. Ничего не пропало.

Грубый подтвердил его слова кивком. Он тоже не в первый раз видел эти грамоты.

— Да, были времена, когда эти грамоты и печати кое-что значили,— произнёс Сыка.

— А теперь разве не значат? — отозвалась старуха.

— Не значат? Нет, значат! И если нет у них силы сегодня, так будет завтра! — решительно и твёрдо ответил Грубый. — Тут наше право, твёрдый орешек, его не раскусить ни ломикаровским управителям, ни самому Ломикару. Тут все короли, а их слово значит побольше, чем слово пришлого немца.

— Верно, верно,— подтвердил Сыка. — Потому-то Ломикар и хочет отобрать у нас грамоты и сжечь их. Тогда ему что! Будет щёлкать бичом и прокрикивать «живей, холопы!» Но нет, не бывать этому! Вот, ещё не стёрлись слова,— и, развернув латинскую грамоту короля Юрия, он показал подчёркнутые строки в приложенном к ней переводе: «...и ни дворяне, ни вельможи никоим образом не могут ни владеть ими (ходами), ни закрепощать их, ни сесть на их земле». — Да и это тоже ещё имеет силу...

Он нагнулся над грамотой короля Матиаса, отыскивая нужное место, и прочёл: «... Сим повелеваем всем нашим возлюбленным верноподданным всех сословий нашего Чешского королевства, особливо же советникам нашей Чешской палаты, как нынешним, так и будущим, дабы они и ныне и впредь на вечные времена нерушимо почитали, соблюдали и мирно охраняли привилегии, льготы и вольности поименованных ходов, приписанных к нашему замку или граду домажлицкому, как ныне здравствующих, так и потомков их, обновлённые, одобренные и подтверждённые нами, доколе о них свидетельствуют сии грамоты, не чиня им, ходам, никаких преград и не дозволяя также и другим чинить их под страхом королевского гнева и немилости нашей и будущих наших королей чешских...»

Сыка поднял голову и взглянул на своих слушателей.

— Слышали? Вот как называли старые короли наших дедов — возлюбленные верноподданные, а теперь всякий писарь обзывает нас крепостными смердами и холопами и думает, что сам чорт ему не брат. А тут вот что сказано! Да если бы у нас остались только эти два пергамента, и тогда нам нечего было бы бояться. Их одних было бы достаточно для правого суда. Все наши права тут.

— Так говорил и покойный отец. — сказала старуха. — Помнишь, Криштоф, когда этот ларец у нас был...

— Как не помнить! — подтвердил Грубый. — Однако надо поторапливаться...

— Так давайте же их скорее! — засуетилась старуха.

Мужчины уложили пергаментные свитки в ларец.

Сыка запер ларец и взял его в руки. Дражиновский староста тяжело вздохнул. Сестра его бросила внимательный взгляд на окна и направилась к низенькой боковой двери. У порога её остановил брат,

— Не позвать ли нам ещё и Яна?

Яна — это значило, его племянника, молодого Козину. Сыка поднял глаза на старуху, с беспокойством ожидая её ответа. Козиниха с минуту помедлила, затем сказала:

— Нет, не надо. И так ладно будет.

Успокоенный Сыка кивнул своей лохматой головой.

Старуха проскользнула в кладовую, за ней вошли оба её сообщника.

Опустевшая горница погрузилась в тишину. Только в окнах слегка дребезжали стёкла, когда налетал порыв ветра. Ярче вспыхивало тогда и пламя сосновой лучины, свившейся уже в колечко с почерневшим краем.

Как раз в одно из таких мгновений в окне показалось чьё-то лицо. Оно разом вынырнуло из темноты и замерло в неподвижности: прятаться было не от кого. В комнате не было ни гостей, ни кованого ларца. Только из кладовой доносились глухие звуки тяжёлых ударов. Но это длилось недолго.

В горницу опять вошёл старый Грубый, низко нагибая беловласую голову, чтобы не стукнуться о притолоку, а за щим Сыка и старая Козиниха. Лицо в окне разом исчезло.

Дражиновский староста торопился домой. Сыка, уже в дверях, ещё раз обернулся к старухе и сказал:

— Так помни, хозяйка, что обещала...

— Я поклялась перед господом богом, люди добрые, — торжественно, с лёгким упрёком отвечала Козиниха.

Через минуту оба старосты были уже во дворе. В усадьбе было темно и тихо. Коромысло у старого колодца под липой скрипело и лязгало. Старосты выбрались из усадьбы тайком, как и пришли, но посещение их не осталось незамеченным, хотя они и не знали об этом. Когда они вышли за ворота, ветер донёс к ним звуки музыки.

— Музыка,— сказал Сыка, надвигая на уши свою широкополую шляпу.— Наверное, посиделки кончаются.

Поравнявшись с освещённым окном соседнего дома, он заглянул внутрь. Там, в просторной горнице, было весело и шумно.

Парни кончили перебирать ячмень на семена, девушки бросили свою пряжу, и молодёжь пустилась в круговую. Посреди комнаты, сдвинув шапку на ватылюк, со сбившимися на лоб волосами, стоял Искра Жегурек, усердно надувал мех своей волюнки, её «душу», и дудел так, что всё кругом тряслось и дрожало. Играл не только его инструмент, играла каждая его жилка. Он раздувал щёки, уморительно смеялся, прищуривал глаза и то совсем закрывал их, то обращал взоры к потолку. Стоя на месте, он и сам вертелся кругом, перебирал ногами и притоптывал в такт, потом вдруг склонялся набок, подпрыгивал на одной ноге и снова начинал притоптывать.

Старики смеялись, а молодёжь с таким увлечением кружилась под крикливые звуки волюнки, что у девушек косы развевались.

Уездский староста догнал Грубого, который, не обращая внимания на музыку, продолжал неторопливо шагать.

— Вот веселятся-то! Если бы они только знали!..— сказал Сыка.

— Ещё узнают...— задумчиво ответил Грубый.

Сыка предложил ему переночевать в сельском доме: уже поздно, и дорога небезопасна в такой темноте. Но Грубый отказался.

— Чтобы люди проведали, что я тут был? А темноты я не боюсь. Спокойной ночи!

В ту самую минуту, когда старосты прощались друг с другом, от каменных ворот усадьбы Козин отделилась тень. Молодой Козина постоял с минуту, глядя им вслед и как бы прислушиваясь к их шагам. По-

том повернулся и медленно направился домой. Он не слышал весёлых звуков, которые неслись вдогонку ему из соседнего дома. Он тихонько вошёл в горницу и так же тихо улёгся. К мерному дыханию жены и детей долго ещё примешивались его тяжёлые вздохи.

Рано утром, когда старая Козиниха, ещё не успев повязать платком свои седые волосы, растапливала печь, к ней пришёл сын.

Он редко заглядывал к матери в такой час. Поздоровавшись с ней, он уселся на лавке, взглянул в окно на затянутое тучами небо, потом перевёл взгляд на мать. Старуха спросила его о Ганалке и Павлике — не будил ли их вой и рёв ветра.

— Что им? А вы, маменька, вчера рано легли...

— Да, рано.

— А потом опять зажгли лучину. Я видел свет... — он испытующе поглядел на мать.

— Такая буря была. Я боялась, как бы чего не случилось.

Голос её звучал совершенно спокойно.

Сын продолжал сидеть. Он всё ещё ждал. Но мать ни словом не обмолвилась о вчерашнем. Она говорила только о мелких, повседневных делах. Молчал и молодой Козина.

Обманутый в своих ожиданиях, он с горечью подумал уходя:

— Родная мать, и та не доверяет!..

III

Домик Искры Жегурека стоял немного в стороне от деревни, ближе к лесу. Домик помнил не одно поколение, хотя вид у него был не очень ветхий. Правда, бревенчатые стены и тесовая крыша почернели от

времени, но цвет их скрашивала зимой сияющая белизна снежного покрывала, а летом зелень двух ясе-пей, росших у стен дома.

С чердака под крышей выступал небольшой бал-кончик, на котором стояла сейчас жена Искры Дорла, развешивая на жердях яркокрасные гроздья спелой рябины — пусть её прохватят первые морозы. Дорла была на несколько лет моложе мужа. Стройная и гибкая, она казалась ещё девушкой. Немало парней засматривалось на неё в своё время, но она была разборчивой невестой. Дорла отвергла даже самых богатых женихов и избрала весёлого волынщика.

Она ещё ни разу не пожалела о своём выборе. Ей хотелось только, чтобы Искра сменил своё ре-месло волынщика на какое-нибудь другое или по крайней мере сидел побольше дома и не шлялся бог знает где по целым дням. Да ещё мечтала она о ребёнке — тогда ей не так скучно было бы одной.

Сегодня Искра был дома.

Об этом говорили весёлые звуки, доносившиеся из горницы. Впрочем, выдувал их не сам Искра; это старался его ученик, выводивший самые игривые ноты. Искра был молодой волынщик, но слава его распро-странилась далеко за пределы родной деревни, и ста-рики предрекали, что из него выйдет второй страж-ский Кужелка, с которым никто в ходских деревнях и даже во всём Пльзенском крае не мог сравниться в игре на волынке. О Кужелке до сих пор ходило много диковиннейших рассказов, хотя он давно уже покоился на кладбище. Рассказывали, что под его музыку даже дубинка в мешке танцевала, и что он показывал своё искусство в Праге при дворе, когда в родной столице ещё короновали чешских королей и ходы ещё безвозбранно пользовались своими иско-ными правами. Рассказывали также, как Кужелка, будучи навеселе, — а какой волынщик может дудеть, не промочивши горло? — заблудился ночью в лесу,

скатился в овраг и попал там в волчью яму, куда вслед за ним пожаловал вскоре ещё один гость, мохнатый и зубастый, и Кужелка до самого утра ублажал его своей игрой, пока не явился на подмогу лесничий, привлечённый звуками волынки и пронзительным волчьим «пением».

Стражский Кужелка был родоначальником и учителем всех окрестных волынщиков. У него учился и старый Жегурек, передавший своё искусство Искре, а у Искры в свою очередь было уже несколько учеников. Он обучал игре не только на волынке, но и на скрипке. Никаких нот он не знал, но стоило ему хоть раз услышать какую-нибудь песню, как он тотчас же подбирал её на том или другом из своих инструментов. Когда где-нибудь на постоялом дворе его обступали, помахивая платочками, весёлые плясуны, и та или иная из них затягивала звонким голосом никем не слыханную до сих пор песенку, которая родилась только вчера или, может быть, только сейчас, вот в эту самую минуту вдохновения, Искра молча слушал первую строфу, с улыбкой поматывая головой и слегка притоптывая каблуком; но едва певица начинала новую строфу, Искра уже играл мелодию на скрипке, а его спутник былых времён, седой отец, вторил ему на волынке, и парни, подхватив девиц, пускались в круговую.

Того же Искра добивался и от своих учеников, в настоящую минуту от Кубы Конопикова, румяного, толстощёкого, рябоватого парнишки лет шестнадцати. Куба был ещё из начинающих, и Искра не посвятил его во все тайны волынки — он пищал только на «передке»¹. Умолкнув по знаку Искры, Куба стоял и ждал, что скажет сидящий на лавке учитель.

— Слушай, Куба, я спою тебе ещё одну, а ты под-

¹ Передние дудки высокого регистра.

берёшь её. Знаешь, эту — «Наш священник славно служит», — и учитель затащил мотив.

Куба взялся было за волынку, но Искра прервал его.

— Эге, никак сюда идёт Козина. Ну, беги домой. Завтра приходи об эту же пору.

Куба не заставил себя долго просить. И секунды не прошло, как он был уже за дверью. Искра подошёл к окну и стал ждать приближающегося гостя.

Что-то зашуршало на печи. На жёстком ложе приподнялся и сел неподвижно лежавший до сих пор старик с длинными седыми волосами. Это был отец Искры, слепой и, видимо, очень дряхлый, потому что он сильно закашлялся и долго старался отдышаться, прежде чем заговорил.

— Козина к нам? Так рано? Небось, случилось что?

— Не знаю, отец. Да, может, он вовсе и не к нам, а только мимо.

Со двора послышались голоса. Дорла, перегнувшись через перила балкончика, разговаривала с Козиной. Дома ли Искра, спрашивал Козина. А Искра уже стоял на пороге и, улыбаясь, приглашал гостя в дом. Впрочем, он не очень зазывал его; он хорошо знал Козину и сразу прочёл по его лицу, что тот не просто зашёл мимоходом, но хочет чем-то с ним поделиться.

— Если ты в лес, я малость провожу тебя... — предложил волычник.

— Да, хочу поглядеть, много ли наворотила буря. Искра сбегал в горницу за шапкой и направился к лесу, не замечая недовольства Дорлы, которая тем временем спустилась вниз.

— Вот так вот всегда! И сам вечно шляется, а если в кои-то веки забредёт человек, так и его уводит с собой! Козина хотел уже в дом зайти.

Так жаловалась Дорла старому свёкру в ответ на

его вопрос о Козине. Услыхав, что гость уже ушёл, старик снова молча улёгся. На лице его отражалась горькая юбида. Он был рад каждому, кому случалось заглянуть в одинокую усадьбу, так как каждое посещение означало для него возможность кое-как скоротать несколько минут мучительного, бескончного времени; но особенно радовался он молодому Козине, которому лет десять тому назад довелось быть его заступником и спасителем.

Старый Жегурек шёл тогда в Трганов. Тамошний вольничик заболел, и он должен был заменить его. В крижиновском лесу его остановили два егеря — оба немцы из тргановского замка. Они были явно навеселе и с трудом ворочали языком. Но поиздеваться над бедняком немец рад и пьяный, и трезвый. Сначала они только подтрунивали над Жегуреком, но когда он махнул рукой и хотел идти дальше, они загородили ему дорогу и приказали играть на волынке. Подумаешь — какой-то смерд, поганый крепостной пёс!

Вскипела горячая ходская кровь. Вольничик ответил им крепким словом и бесстрашно встретил насильников, когда они набросились на него, как рассвирелевшие медведи. Скинув с плеча волынку, он голыми руками защищался против немцев, пустивших в ход тесаки. Бой был неравный. Не миновать бы старому Жегуреку гибели, — он обливался кровью, и ноги у него подкашивались, — как вдруг из чащи с громким лаем выскочил Волк и бросился на одного из злодеев, а другого огрел чеканом подоспевший Козина. Расправившись с озверевшими немцами, молодой Козина взвалил на плечи потерявшего сознание старика и отнёс его домой. Но немцы всё-таки успели выбить глаз старому вольничу, а вскоре, — когда израненный Жегурек ещё лежал в постели, — начал болеть и другой, и старик совершенно ослеп.

С тех пор старик скучал в одиночестве и оживлялся только, когда ещё брал его с собой в корчму.

или на посиделки играть на скрипке, да ещё когда он в отсутствие Искры обучал его учеников игре на вольнке. [

После этого случая и молодой Жегурек, Искра, ещё больше привязался к Козине. Да и могло ли быть иначе, когда Козина не только вступился за его отца, но и всячески подбодрял старика во время его болезни и частенько навещал его, не забывая принести всякий раз какой-нибудь гостинец? Козина вырос в богатой усадьбе, в издавна пользующейся особым почётом семье, а Искра был бойким сынишкой простого вольщика, но оба дружили с раннего детства. Когда юный Козина пас коров, его неизменно сопровождал маленький Жегурек. Козина предпочитал его всем другим, и если собирался побродить, то обязательно заходил за приятелем.

Когда оба стали взрослыми парнями и начали приударять за девушками, Искра сделался поверенным всех сердечных тайн Яна, а женитьба Яна, которой немало поспособствовал весёлый вольщик, только укрепила дружбу между молодыми людьми.

Никому Козина так не доверял и никому не позволял так бранить себя, как Искре.

[Оба друга шагали сейчас по направлению к лесу.

После бурной ночи настал ясный, солнечный день — редкий день в ноябре. Утром ветер носил ещё по небу тёмные тучи, но теперь ярко светило солнце, и в прозрачном воздухе отчётливо рисовались вершины Шумавы и Чешского Леса. Из лесной чащи доносился протяжный, глуховатый гул.

Но друзья ничего не замечали. Они молча шагали рядом, погружённые в свои мысли. Обычно Искра не заставлял себя долго ждать и начинал разговор какой-нибудь шуткой, но сейчас он чувствовал, что шутка была бы не к месту. Он видел, что с Козинкой случилось что-то серьёзное. И когда они дошли до опушки, вольщик на мгновение остановился, по-

Вернулся к приятелю, взглянул ему прямо в лицо и сказал с сердечным участием:

— Эй, дружище, что молчишь, будто у тебя язык отнялся? Ну, выкладывай!

— Искра, скажи по совести, что люди говорят обо мне? Что я никчёмный парень, верно?

— Вот дурень-то! С чего ты взял?

— Когда родная мать, и та мне не верит...

— Это ещё что?..

Теперь остановился Козина. Он повернулся к вольничу и впился в него взглядом.

— Да, да, я не могу больше вынести. Это лежит у меня камнем на сердце. Все меня бабой считают. Сыка, дядька дражиновский, мать, все, и ты тоже, наверное! Но вы сами ещё бóльшие бабы, потому что никто из вас не хочет сказать мне это в глаза! Господи боже! Если бы вы только знали...

— Да что с тобой, Ян? Рехнулся ты, что ли?

— Есть от чего... Слушай, Искра! Я расскажу тебе...

Он на мгновение умолк, затем начал рассказывать. Друзья шли неторопливыми шагами по опушке. Козина рассказывал о вчерашнем вечере, о гостях, постучавшихся к его матери, о том, что он видел в окно, и как он всё время ждал, что и его позовут, но гости ушли, не вспомнив о нём, словно его и на свете не существует, а утром мать сделала вид, будто ничего не случилось, потому что не доверяет ему.

Козина говорил с большим жаром, и волнение его всё росло.

— Женщине, старухе они доверяют, а мне нет. Я знаю, что они думают, но всё-таки... Они думают— как женился на Ганке, так переменялся, не тот парень стал, не та кровь в жилах. Прежде на панов лютым зверем рычал, а теперь... велят ему ходить вверх ногами— пойдёт и слова не скажет. Это правда, я стал другой, не такой, как прежде. Прежде мне было море

по колено. И немцам немало от меня доставалось. А теперь боюсь — начну, не сдержусь, как бы чего не вышло. Загублю жену и детей, а дети... если бы ты знал, Искра, что такое дети! И всё-таки кровь во мне так и кипит каждый раз, когда я вижу, как немцы топчут в грязь нас и наши права. И я разрываюсь на части, не знаю, что делать. Не раз я хотел поднять голос, да вспоминаю всегда слова покойника отца. Помнишь, как пришло повеление из Вены, что наши права — ничто? Я был ещё мальчишкой. В городе, в нашей крепости читали это повеление, где ходам предписывалось *perpetuum silentium* — так это говорилось по-латыни. Я хорошо помню эти слова. Я тоже был там с отцом. Туда созвали всех ходских старост и именитых людей, ну и отца, значит. И я помню, как все кричали, когда читали это повеление, а особенный крик поднялся, когда краевой гетман объявил, что огненные ходы должны вечно молчать, так, мол, велят эти два латинские слова. Никто не поверил, и мой старик тоже. Бедняга схватил меня за руку и сказал: «Ну-ка, прибавь диагу, сынок!» Мы пошли в церковный дом, к настоятелю. Отец спросил его, что эти латинские слова означают по-нашему. Настоятель сказал то же самое, что и гетман, и тогда отец схватился за голову и заплакал. Всю дорогу домой горевали старики и больше всего кляли это самое *perpetuum*, ибо нет несправедливости страшнее, чем когда человек защищаться не смеет! Несколько дней отец ходил как убитый и ни с кем не говорил ни слова. Наконец вернулся раз из леса, да как ударит чеканом по столу, да как закричит: «Нет, это ещё не аминь! Настанет день, и поднимется непокорный, и прольётся кровь!»

Молодой крестьянин остановился, перевёл дыхание и задумался на несколько мгновений. Глаза его горели, лицо покраснелось.

— Я не могу, братец милый,— начал он снова,— не могу забыть это. С тех пор как я стал постарше, я все время думал об этом. Кто-то должен подняться, должен пахать, эта мысль даже во сне не покидала меня, и чем дальше, тем всё больше мне казалось, что пахать суждено мне. Я не забывал и отцовское предсказание о том, что прольётся кровь. Но я не боялся за себя. Пусть я погибну, лишь бы помочь другим, думал я. Вот стану хозяином и тогда... И тогда — ну, дальше ты знаешь... Из-за Ганки я забыл всё на свете, а там ещё пошли дети. Но старые мысли меня не покидали ни днём, ни ночью. Только... что из этого вышло? Я хотел сделать как лучше, а сделал так, что родная мать мне не доверяет, словно я вовсе не ход...

— Ну, это ты напрасно думаешь. Дело-то ведь было ночью...

— Нечего втирать мне очки.

— Да чего ты мучаешь себя? Придёт время...

— Вот-вот, и ты такой же, как все! Придёт время.. а мы пока всё проспим.

— Я проспать не хочу, только думаю — если гончая зарвётся, попадёт волку в пасть.

— Уговорами волка не возьмёшь. Хочешь не хочешь, а до драки дойдёт. Кто-нибудь должен начать, если мы не хотим быть рабами. И не будем мы ими! — горячо добавил Козина.

— Ты думаешь, что время пришло?

— Если немцы ищут наши грамоты, то всякому дураку ясно, что они ещё имеют силу. Теперь самое время! Если старосты не начнут, а будут только прятать пергаменты, тогда подниму голос я, и суди меня бог! Так я решил этой ночью!

В это мгновение чей-то могучий голос окликнул молодых людей издалека. Оба они обернулись. В ложине, на тропинке посреди поля, стоял человек огромного роста и махал им чеканом, который был, должно

быть, обит железом, потому что сверкал на солнце, как обнажённая сабля. По громовому голосу и гигантскому frostу они узнали Пишибека.

IV

Он стоял на меже у безлистого куста шиповника, красные ягоды которого кое-где уже побурели. Ветер играл его длинными волосами, выбивавшимися из-под широкополой шляпы, лапами его расстегнутого белого жупана и ремнями завязками коротких кожаных штанов. Несмотря на солнце, воздух был довольно холодный, а вдобавок дул ноябрьский ветер. Но Матвей Пишибек и не подумал запахнуть жупан, он даже камзол не застегнул как следует. Его могучая, широкая грудь встречала ветры похолоднее, чем тот, что дул сейчас из-за леса.

Повернувшись к Козине и его спутнику, он уставился на них спокойным, но хмурым взором. Губы его были плотно сжаты, так плотно, что над подбородком залегла глубокая складка.

Суровый и неподвижный, как мзваяние, стоял последний ходский знаменосец. Не пошевелинулся он и тогда, когда обратился к приближавшемуся Козине:

— Где ты шатаешься, Козина, когда у тебя на поле рубят межевые деревья?

При этих словах, произнесённых с деланным равнодушием, молодой ход остановился как вкопанный.

— У меня? Где?

— Там, на глинищах...

— Да кто же?

— Немцы.

Козину точно по лицу хлестнули. Кровь бросилась ему в голову, но он всё ещё стоял, не спуская широко раскрытых глаз с Пишибека, словно никак не мог поверить ему. А суровый ход продолжал:

— Да, да, верно, брат. Я сам видал, проходил сейчас мимо. Там управитель из Трганова и панские наймиты.

— Чтоб их холера взяла! — гневно воскликнул Искра.

Но друг его уже не слышал этого восклицания. При последних словах Пшибека он, как ужаленный, рванулся с места и помчался в ту сторону, где на глинищах была его пашня. Вольтыжник со всех ног пустился за ним. Оба они летели как на пожар. А впрочем, пожар не так взволновал бы молодого Козину¹.

Матвей Пшибек глядел им вслед и думал:

— Эх, Козина, Козина, вышвырнут тебя, как котёнка!

У подножья горы, по другую сторону которой лепилась к склону деревня, ближе к Трганову на краю перепаханного поля стояла огромная старая липа. Она трясла и шумела оголёнными ветвями, казалось — она тяжело вздыхает. Последние вздохи... Глубже и глубже с визгом врезалась зубастая пила в могучее тело старого дерева. Тргановский управитель и двое коренастых панских дворовых внимательно следили, как ходит пила в руках дровосеков, побагровевших от натуги.

В Трганове люди выбегали из домов и с ужасом, с изумлением смотрели, что делают с козиновской липой. Опять насильничают немцы! Кто, кроме них, дерзнул бы посягнуть на такое старое, прожившее столько веков дерево, даже если бы оно не было неприкосновенным межевым знаком, признанным древнейшими законами с незапамятных времён!

Но люди под липой не считались ни с чем, не

¹ Это поле получило потом прозвание Козиновского, сохранившееся за ним до наших времен. По местному преданию, девятое поколение в потомстве Козины восстанвит свои погранные насилеием права на это поле.

считались и с крестом, врубленным в ствол и воз-
глашавшим оттуда: «Не укради! Не пожелай ничего,
слико суть ближнего твоего!» {

Вдруг мощный окрик заставил их остановиться.
Управитель наморщил лоб. Пила умолкла. Как бешеный
вихрь, несся вниз по склону молодой Козина,
от чего не отставал вольничик Искра.

Тяжело дыша, весь красный, остановился хозяин
под липой. На мгновение воцарилась мёртвая тишина.
Только липа продолжала вздыхать в вышине. Челюдь
переводила глаза с управителя на Козину, который
в первую минуту не мог от возмущения вымолвить
ни слова. Он весь дрожал, глаза его метали молнии.

— Кто вам позволил? — загремел он наконец.

— Никто. Паны приказали, — отрезал управитель,
многозначительно подчёркивая слово «приказали». И,
обращаясь к дворовым, коротко добавил: — Пилите
дальше.

— Не смей! — крикнул Козина. — Я тут хозяин,
я тут пан. Моё дерево, моя земля. Ею владели мой
отец, и дед, и прадед...

— А ты не будешь. По бумагам оказалось, что
поле принадлежит панам.

— По бумагам! Ваши бумаги! По вашим бума-
гам наши привилегии, наши стародавние права тоже
ничто... Ха-ха! Всё у нас отняли, крепостных из
нас сделали, да ещё хотите забрать последний клочок
земли, который нас кормит! Грабители! Воры!

— Молчать! — заорал управитель.

— Молчать? У нас есть права и привилегии!
А вот вы по какому праву...

— По панскому праву, глупый холоп! Плевать
нам на твои привилегии. Пусть хоть на голове
у тебя вырастет дерево, а прикажем срубить — под-
ставишь башку и не пикнешь. Вот твои привилегии.

— А вот посмотрим! — И Козина отшвырнул од-
ного из пиливших.

Искра бросился за ним с криком «опомнись!», но управитель уже, как бешеный, вцепился в молодого хозяина, стараясь оттащить его от своих подручных. Козина озлобленно стряхнул его с себя.

— Прочь, немецкий пёс, или мокрого места от тебя не останется!— крикнул он. Но уже вся челядь, по знаку управителя, набросилась на него. Тогда и Искра, видя, что Козине приходится туго в неравном бою, забыл свои призывы к благоразумию и поспешил на помощь к приятелю.

У подпиленной липы завязалась жестокая схватка. Оба хода, хотя и безоружные, оказались опасными противниками. Особенно досталось неуклюжим дровосекам, сцепившимся с Козиной. Им никак не удавалось одолеть его. Но долго так продолжаться не могло. Силы были слишком неравные. Искра уже лежал на земле, но и лёжа продолжал отбиваться от дворового, наступившего ему на грудь коленом. Козина ещё держался на ногах, но по лицу его ручьём струилась кровь.

В это время с горы, со стороны деревни, раздался громовой голос:

— Стойте, вы! Ведь это убийство!

И невдалеке показалась богатырская фигура Матвея Пшибека.

Тяжёлыми шагами, медленно и степенно, как всегда, спускался он по склону, держа в руке занесённый словно для удара чекан. Видя, что там внизу не слышат или не хотят слышать его, он прибавил шагу, крича на ходу:

— Держись, Козина! Держись, паренёк! Я иду!

Бой под липой разгорелся с новым ожесточением. Ходы напрягли последние силы. Искре удалось вывернуться из-под насевшего на него врага. Вскочив на ноги, он стал пробиваться к Козине, вокруг которого всё свилось в один яростно кричащий клубок.

Козина еле держался. Вдруг он сразу почувствовал облегчение. Голос, доносившийся прежде с вышины, загремел над самым ухом дерущихся. Управитель и двое из его подручных поспешили немедленно обратиться в бегство, остальные двое последовали их примеру, когда дубовый чекан Пшибека заходил у них по спине.

— Подлая немецкая челядь! Мало вам ограбить человека, ещё и убить хотите!— кричал Пшибек и так размахивал чеканом, что управитель со своей дружиной пустился бежать что есть духу.

Через минуту под липой стало тихо. Когда Пшибек, «угостив на дорогу» панскую свору, вернулся к месту побоища, Искра, у которого у самого ни одного живого места на теле не осталось, перевязывал своему другу раненую голову. Козина был бледен, как полотно. Когда подошёл Матвей Пшибек, он протянул ему руку со словами:

— Пошли тебе бог здоровья!

И, глядя на смертельно раненную липу, добавил:

— Жаль, что я не подросел вовремя...

— Было бы то же,— ответил Пшибек.— А теперь поживей собирайся домой! Вон сколько крови ты потерял.

— Значит, уже пролилась...— вслух подумал Козина, глядя на свою окровавленную ладонь; этой ладонью он пытался зажать рану на голове.

Молодой крестьянин ещё раз оглянулся на лину. Под сенью её отдыхали от работы его предки; он сам не раз сживал под ней в страдную пору с дедом и со жнецами. Скольким поколениям давала она приют в своей тени! Сколько рассказов сложилось о ней! Все в округе знали и любили её. И вот что сделали с ней бесстыжие немцы!

— Я было направился домой, да подумал: Козина — парень горячий, а тех наймитов много. Пожалуй, ему придётся плохо. Ну, я и повернул назад,—

рассказывал Пшибек, шагая рядом с молодыми хододами.

У дереванской околицы он расстался с ними. Козина зашёл к Искре, чтобы обмыть лицо и руки. Вид крови испугал бы Ганку. Но старания его были ни к чему: когда он вошёл к себе в горницу с перевязанной головой, Ганка испуганно вскрикнула. Улыбаясь, он стал успокаивать встревоженную жену. Вскоре, однако, он замолчал, уселся на кровати и опустил голову на грудь. Ганка, приготовлявшая свежую перевязку, не удивилась тому, что муж её внезапно умолк и нахмурился. Она думала, что его беспокоит рана. Но его беспокоила не рана, а мысли. «Теперь уже речь идёт не о правах только, а о жизни и смерти. И иного выхода нет. Так суждено мне, так на роду написано». Вот что — острее, чем когда-либо, — чувствовал и думал сейчас молодой крестьянин.

В это время слышались быстрые, мелкие шажки. Маленький Павлик прибежал от бабушки, а за ним, переваливаясь уточкой, спешила белокурая Ганалка. Увидев отца, дети с радостными возгласами бросились к нему. Он усадил их к себе на колени и крепко прижал к груди.

В такой позе застала его старая Козиниха. Ей только что сказали, что немцы срубили старую липу на козиновском поле. Больше она ничего не знала. Она не помнила себя от возмущения и гневно нахмурилась, когда увидела, что сын её, как ни в чём не бывало, возится с детьми.

— Немцы срубили у тебя старую липу на глинищах, — сурово произнесла она.

Сын поднял голову.

— Да, знаю...

Тут только она заметила перевязку.

— У тебя голова перевязана...

— Там у липы мне рассекли... — спокойно ответил сын.

— Ты отстаивал её?

— Но не отстоял.

Заметив перевязку, старуха двинулась было к кровати, но при последних словах сына остановилась и с удивлением посмотрела на него. Помедлив, она спросила уже не так резко:

— Тебя сильно ранили?

Он отрицательно покачал головой.

А старая липа на глинищах в это время уже лежала поверженная. Как только ходы ушли, немецкая челядь вернулась и срубила её. Так как уже наступали сумерки, её оставили на месте. Точно сражённый великан, лежало на земле могучее дерево, и всю ночь слышались его вздохи и жалобы.

V

По своему достатку Пшибеки были не из первых в Уезде. В усадьбе у них все постройки были деревянные и довольно ветхие. С улицы двор был огорожен каменной стеной с калиткой. Рядом с калиткой высились ворота с тесовым сводом над ними, покоившимся на толстых деревянных столбах. Изнутри в стену была вмазана старая, уже выщербленная ступа для толчения круп.

В маленьком дворике, как и на улице, было тихо. Нигде ни души. Было воскресенье, и в мокрую ноябрьскую погоду каждый предпочитал сидеть дома в тёплой горнице.

Манка Пшибек наряжалась, собираясь отправиться в город. Она стояла в своей каморке у расписанного яркими цветами открытого сундука. Свет, проникавший в каморку через небольшое оконце, падал на собранные в сундуке платья, цветные платки и пёстрые платочки. Свет падал и на льняные с золотистым отливом волосы девушки, мягкие, как шёлк, и длинные

до пят. Манка была красивая девушка. Её тёмные глаза искрились и сверкали, а когда она улыбалась, нельзя было не любоваться её белоснежными зубами. Но лучше всего были всё-таки её волосы, золотыми волнами ниспадавшие сейчас к её ногам. Расчесав волосы, она заплела их в косы, а косы перевила красной лентой; потом скрепила их надвинутой на лоб яркой повязкой.

Девушка так старательно убиралась, что не заметила, как под окном на голый куст уселся воробей и, качаясь на ветке, звонко зачирикал. Зато она сразу заметила, что в сенях скрипнула дверь и кто-то вышел из горницы. Она только что надела красную юбку с пышными сборками и теперь, услышав шаги, заторопилась, чтобы поскорее завязать её. А тот всё ходит в сенях... Но вот шаги затихли, — остановился, значит. Ждёт.

Манка не могла сдержать улыбку. Ей было весело, она радовалась, что идёт в дурод, и сегодня ей особенно приятно было идти. Перед обедом к ним пришёл в гости дядя Пайдар из Поциновиц, двоюродный брат её отца, а с ним молодой Шерловский.

Она познакомилась с ним в Поциновицах, когда ходила туда с покойной матерью. Уже больше года прошло с тех пор, а она всё не могла забыть тот день. Нет, не могла! Она тогда в первый раз встретилась с молодым Шерловским и говорила с ним. Потом она несколько раз встречалась с ним в городе после обедни; каждое воскресенье по выходе из церкви он подходил к ней и заговаривал. А сегодня вдруг пришёл к ним — неожиданно-негаданно. У неё в сердце захолонуло, когда она увидела его; она не хотела глазам своим верить. Но это был радостный испуг. Она догадывалась, что он пришёл неспроста, а ради неё и за ней!

И как удачно! Она как раз собирается в церковь, и он, на обратном пути в Поциновицы, проводит её

до самого города. Ходит в сених, ждёт, пока она выйдет, небось это лучше, чем сидеть с мужчинами в горнице, — задорно думала девушка. Манка повязала концы платка на высокой, пышной груди и подпоясалась затейливым кушаком, на котором среди вышитых зелёных цветов, как ручеек в траве, сверкали мелкие бисерные блёстки.

Манка не ошиблась.

В сених стоял стройный и гибкий, как девушка, парень — молодой Шерловский. Он уже не ходил взад и вперёд, а остановился у выхода, спиной к дверям. Взор его был прикован к другой двери — низенькой и некрашеной, над которой были вырезаны в косяке три креста. Эта дверь искушала его. Его так и тянуло постучать, открыть её... Манка, наверное, уже одета. Как она долго наряжается! А теперь как раз можно бы поговорить с ней наедине — он так давно об этом мечтал, так радовался заранее этому разговору. Если она будет мешкать, кто-нибудь ещё выйдет из горницы или его позовут туда... В нетерпении он сделал несколько шагов в глубь сеней.

— Манка! — тихо позвал он. — Манка!

Густая краска выступила у него на скулах.

Вдруг он вздрогнул. Дверь открылась, и на пороге стояла она — та, которую он только что призывал, задыхаясь от волнения. Она, в праздничном наряде, с румянцем на щеках, с улыбкой на лице. И всё вокруг разом озарилось сиянием.

— Иду, иду! — весело сказала она.

— Постой, не торопись! До обеда ещё есть время...

— Но не в сених же... — и она бросила взгляд на дверь в горницу.

— Да ну их! У них свои разговоры. Постой... — продолжал он умоляюще. — Я так ждал этой минуты.

Манка закрыла за собой дверь каморки и осталась в сених.

Парень взглянул на неё и, восторженно всплеснув руками, с увлечением воскликнул:

— Так и вижу, как тыходишь в церковь, а кругом говорят: «Мать пресвятая! Ну, и девушка! Вот красавица!»

Девушка засмеялась.

— Нечего тут соловьём разливаться. Оставь свои песни для Поциновиц.

— Говорю, что вижу. Глаза мои не лгут. А ты не веришь... Может, и тому не поверишь, что я всё время вспоминаю тебя?

При этих словах Манка невольно потупила взор, но когда она снова подняла голову, глаза её сияли.

— Манка,— продолжал парень, придвигаясь к ней,— я говорю тебе истинную правду. Скажи и ты мне по правде, чтобы я не мучился. Есть у тебя на сердце зазноба?

— Ишь ты как выпрашивает и допытывается! Точно исповедник...

— Манка, кто-нибудь выйдет из горницы, и тогда— аминь, я не услышу того, что хочу услышать, что должен узнать. Я ведь только за этим и пришёл! — с мольбой в голосе воскликнул он.

Девушка молча улыбалась, словно раздумывая и не решаясь. Но сердце её радостно трепетало. А он ещё и ещё раз просил ответа... Разве не жаль томить красивого парня? И она ответила решительным «нет», означавшим, что нет у неё никакой зазнобы, ни по ком она не страдает. И она зарделась, как маков цвет, и беспомощно потупила глаза, когда обрадованный парень схватил её за руки. Ни он, ни она не обращали больше внимания на дверь в горницу, оба забыли о тех, кто сидел там за дверью.

На их счастье, из горницы никто не выходил. Там тоже забыли о молодых людях. Только в широкой горнице, убранной просто, без всяких украшений, было не так весело, как в сенях. Тут сидели всё по-

жилые мужчины и старики, хмурые и озабоченные, и вели серьёзные разговоры. Был тут Матвей Пшибек — в расстёгнутом камзоле, без жупана; рядом с ним сидел его двоюродный брат Пайдар из Поциновиц, и лицо, и фигура которого ясно говорили, что он из рода Пшибеков; против Пайдара сидел постшековский Псутка, который вместе с Пайдаром возвращался из города и вместе с ним зашёл к Пшибекам.

Они сидели на грубо сколоченных стульях вокруг огромного обрубка липы, который с незапамятных времён служил Пшибекам вместо стола. Этот обрубок стоял тут ещё при деде Матвея Пшибека, как говорил Матвею его старик-отец. Сейчас старик не подсаживался к столу, а ёжился на лавке у печи, запахнувшись в овчинный тулуп. Старые кости любят тепло! Старик сам не знал, сколько лет его носит земля. Годов восемьдесят, а то и больше, — говорил он, и уж, конечно, ему было не меньше. Годы свои он не считал, а мерил время событиями, сохранившимися в его памяти. По его словам, он хорошо помнил великую войну; многим парням, родившимся после начала войны, ещё пришлось принять в ней участие; ведь она добрых тридцать лет продолжалась! Старый Пшибек помнил и те славные времена, когда ходы ещё были вольными людьми, когда у них были свои права и своя крепость; он ещё видел, как отец его с ходским знаменем, и с юружьем в руках ходил в лес сторожить границу. Это было в ту пору, когда начиналась великая война. Отец его был ходским знаменосцем — наследственная честь в роде Пшибеков.

Старый Пшибек любил вспоминать эти времена и рассказывать, как делались засеки, как из каждой деревни «в свой черёд» мужчины уходили в лес на целые сутки и брали с собой хлеб и вяленое мясо, как он сам — тогда пятнадцатилетний мальчуган — убежал из дому в лес, к стражам границы, и сидел с ними по ночам у костров. Сколько времени с тех

пор прошло, сколько воды утекло! Чего только он не видал на своём веку! И кто знает, что ещё доведётся ему увидеть? Вот и сейчас он слышал странные новости, предвещавшие бурю. Постшековский Псутка и сестрин сынишка, Пайдар из Поциновиц, рассказывают, что повсюду в ходских деревнях немцы переворачивают всё вверх дном — ищут старые королевские грамоты, а вчера Сыку призывали в тргановский замок и грозили ему, как и старостам других деревень, жестокой расправой, если он не скажет, где спрятаны пергаменты с привилегиями.

— Но он молчал, как и все,— добавил рассказывавший об этом Псутка.

Матвей Пшибек, который до сих пор не проронил ни слова и, только нахмурившись слушал рассказ, резким движением поднял голову и сказал:

— Молчал!.. Мы тоже молчим. Это всё, что мы умеем. Барщину нам прибавляют — мы молчим, бьют нас — молчим, отняли наши леса — молчим, рубят наши межевые деревья и крадут нашу землю — мы всё молчим...

— А вот вы с Козиной не захотели молчать,— перебил его Псутка,— и что из этого вышло? И что ещё будет?

— А что будет?— отрывисто бросил Матвей.

— Что же, ты думаешь, немцы вам так и спустят?

— Немцы, немцы... У них было достаточно времени, чтобы потянуть нас на суд и расправу, а вот не потянули, да так, наверное, и не наберутся храбрости!

Со своей лавки у печи поднялся старый Пшибек и медленно направился к столу. Старик был такого же огромного роста, как и Матвей, только годы согнули его спину. Спереди череп его облысел, зато сзади на расстёгнутый ворот его тулупа падали длинные, белые, как снег, волосы. Запахивая тулуп левой рукой, он поднял правую руку вверх. Косматые брови его насупились, в глазах вспыхнул огонь, и громким,

неожиданно звучным для такого старика голосом он произнёс:

— Правильно говоришь, паренёк. В старые времена такого бы не случилось. Вся деревня, как один человек, поднялась бы, если бы кто-нибудь посмел срубить межевое дерево, будь то хоть князь, а не то что какой-то немец...

Старик внезапно умолк на полуслове. Псутка и Пайдар вскочили и кинулись к окну. С улицы ворвался в комнату сигнал горниста. Отрывистый и резкий сначала, звук трубы повторился мягче и протяжней. Матвей Пшибек неторопливо подошёл к окну и вместе с гостями выглянул наружу. В горницу вбежала Манка, следом за ней вошёл Шерловский. Угрожающий и необычный звук трубы прервал короткую минуту блаженства. Парень, пожалуй, простоял бы там в сених до вечера, хотя уже давно он мог унести с собой волшебную надежду на то, что Манка всё-таки не сказала правды, и у неё есть зазноба, и эта зазноба — он сам...

Манка подбежала к деду с вопросом — что это, что там случилось?

Старик, замерший в неподвижности возле стола и весь превратившийся в слух, встряхнул головой и коротко ответил:

— Войско.

Манка испуганно вздрогнула. Взгляд её обратился на отца, который, стоя у окна, хмуро, но спокойно глядел на улицу.

А на улице разрастался шум. Тихая, безлюдная деревня разом ожила. Люди выбегали из домов и окликали друг друга, спрашивая, что случилось. Одни ограничивались тем, что перебегали через дорогу, другие бежали в том направлении, откуда доносился сигнал. Вдруг все разом застыли на месте, и всё на мгновение смолкло. За изгородью показалась конская голова, за ней другая, третья. И вот по улице

уже ехали рысью четыре всадника: трое — императорские кирасиры, а четвёртый — в обыкновенной гражданской одежде. На головах у солдат сверкали медные каски. На груди и на спине поверх белых мундиров с красными отворотами чернела железная кираса, а через плечо на жёлтом ремне висел карабин. Красные рейтузы наполовину были скрыты высокими ботфортами.

В руках у кирасир блеснули обнажённые палаши.

— Чтоб их холера взяла! — выругался Псутка. — Это тргановский управитель!

— И показывает сюда! — поспешно добавил Пайдар. — Спасайся, Матвей, ещё есть время! Это за тобой!

Манка с криком бросилась к отцу, — надо задами бежать в поле. Матвей слегка отстранил её, словно не слышал, что она говорила.

— Чего я стану спасаться? — обратился он к мужчинам. — Что я — убийца?

— Правильно, паренёк. И я так думаю, — поддержал его старый Пшибек.

В это время конский топот послышался у самого дома, и вслед за тем раздался голос управителя, кричавшего, чтобы открыли ворота.

Гости встревоженно переглянулись. Манка смотрела на отца, который решительными шагами вышел во двор. Скрипнули петли, и во дворе послышалось конское ржание, а затем громко звякнули ножны палашией! — двое кирасир соскочили с седла. За ними слез с лошади и тргановский управитель.

— Вот этот самый, — закричал он, указывая на Пшибека. — Эй, ты, пойдёшь с нами!

— Куда? — откликнулся ход, выпрямившись во весь рост и возвышаясь чуть не на целую голову над двумя рослыми кирасирами, вставшими у него по бокам.

— Не твоё дело! А не пойдёшь, так...— грубо заорал управитель.

— Только не грозите. Вы знаете, что я не из пугливых,— перебил его Пшибек, и насмешливая улыбка пробежала по его губам.

— Ну, живо! А где твой отец?

Пшибек вздрогнул.

— Зачем вам старик?

— Он тоже пойдёт. И поживее, вы! Нечего тут!

— Ну-ка, погляжу, что за палачи тут явились,— раздался голос из сеней, и на пороге показался старый Пшибек. Холодный ветер развеивал его седые волосы; он выпрямился, насколько ему позволяло тяжёлое бремя годов, и смело взглянул на управителя и кирасир.

В это время внучка испуганно схватила его за руку. Матвей Пшибек решительно заявил управителю, что не пойдёт, пока не будет знать, куда его ведут.

— Чтобы ты испробовал всё по порядку — сначала на съезжую, а потом уже к нам,— насмешливо ответил управитель.

— А моего отца?

— Тоже.

— Да на что он вам?

— Брось, Матвей! — отозвался старик. — Пойдём.

Манка, принеси отцу жупан!

И когда она подавала отцу белый суконный жупан, дед ласково сказал:

— Не горюй, глупенькая. Мы долго не задержимся. Присматривай пока за домом.

У ворот собрались соседи. С ужасом смотрели все на невиданную процессию, выступавшую со двора. Впереди ехал верхом тргановский управитель, за ним трое кирасир, а между кирасирами шагали оба Пшибека; старик был в своём овчинном тулупе и тяжело опирался на чекан, младший шёл с высоко поднятой

головой. Позади старались не отставать от них Манка с Шерловским и дядя Пайдар с Псуткой.

У съезжей они ещё издали увидели двух кирасир, а между ними Козину с перевязанной головой. Тут же, держа на руках маленькую Ганалку, стояла бледная, заплаканная Ганка, а рядом с ней — старая Козиниха, за которую цеплялся трёхлетний Павлик. Старая Козиниха не плакала, но лицо её было темнее тучи, глаза не отрывались от сына, и нетрудно было понять, что делается у неё на душе.

Чуть не вся деревня толпилась у съезжей — старые и молодые, женщины и мужчины. Все глядели на подходивших Пшибеков, как вдруг новая фигура отвлекла всеобщее внимание. Откуда ни возьмись, словно из-под земли вырос Искра Жегурек. Он протолкался к управителю, снял шапку и с еле уловимой насмешкой произнёс:

— Господин управитель, я тоже играл в оркестре под липой!

Ропот одобрения пробежал по толпе, и в то же мгновение раздался чей-то испуганный возглас:

— Господи боже, смотрите — новое войско!

VI

Это было не войско, а небольшой отряд кирасир. Во главе отряда ехали какие-то паны, повидимому офицеры, в белых плащах. На головах у них были не каски с гребнем, как у солдат, а чёрные треуголки с золотым галуном. Отряд приближался со стороны Домажлиц, но так как в Домажлицах никакого гарнизона не было, то ясно было, что кирасир прислали из Пльзена.

Едва отряд въехал в деревню, как от него стали поодиночке и по-двое отделяться всадники, которые заняли все проходы и проезды, ведущие в поле. Весь

отряд остановился на улице недалеко от съезжей. Уже первое появление кирасир всполошило весь Уезд, а новое нашествие довело всеобщее волнение до предела. Но гул многочисленных голосов мгновенно оборвался, когда всадники по команде разом обнажили палаши. Едва загремели ножны и сверкнула обнажённая сталь — толпе точно голову отрубили. Испуганно переглядывались женщины, хмуро молчали мужчины.

Но вот офицеры начали слезать с коней, и в толпе раздался полный неподдельного страха возглас:

— Ой, люди добрые! Смотрите — сам тргановский немец!

Все взоры обратились в ту сторону, а над толпой прозвучал уже новый возглас:

— И Кош здесь, управитель из Кута!

Действительно, к съезжей направлялся сам Максимилиан Ламмингер, барон фон Альбенрейт, «тргановский немец» и гетман Пльзенского края. По бокам его шли двое офицеров, а немного позади — кутский управитель Кош. Владелец ходов, человек среднего роста, лет пятидесяти на вид, приближался уверенными и твёрдыми шагами с надменно вскинутой головой. Его холодные, прозрачно-голубые глаза с деланным равнодушием, — а в действительности очень внимательно, — оглядывали собравшуюся толпу. Ветер развевал полы его небрежно накинутого плаща и пышные букли рыжеватого аллонжевого парика.

Кош грубо покрикивал на ходов, чтобы они расступились и дали дорогу. Ламмингер шёл среди при молкших людей, глядя прямо перед собой. Но у самых дверей съезжей взгляд его встретился с мрачным сверкающим взглядом стройного молодого крестьянина с перевязанной белым платком головой. На него смотрели не робкие глаза забитого крепостного холопа, нет, это был гордый взор свободного человека, светящийся чувством собственного достоинства. Ламмингер

невольно замигал своими редкими белёсыми ресницами.

Когда немецкий барон с обоими офицерами перешагнул порог сеней, Искра Жегурек, наклонясь к Пшибеку, стоявшему между двумя кирасирами, указал кивком, на длинные локоны тргановского пана и сказал ухмыляясь:

— Немец-то педаром рыжий...

— Бог шельму метит,— коротко и сухо ответил Пшибек.

В это время раздался грубый голос тргановского управителя, который приказал обоим Пшибекам, Козине и нескольким старикам, заранее отобранным из числа жителей деревни, войти внутрь. Козина, прежде чем войти, оглянулся, ища глазами жену и детей.

Утирая слёзы, Ганка старалась протесниться вслед за ним. И странное дело — управитель, стоявший у двери, пропустил и её, и старую Козиниху с детьми, и Манку Пшибек, смело пробиравшуюся за ними, и других женщин — жён тех крестьян, которых ввели в съезжую.

Взоры вошедших устремились на немцев. Сбросив плащи, Ламмингер и офицеры стояли у большого с резными ножками стола и оживлённо говорили вполголоса. Тёмнокрасный кафтан Ламмингера, с прямыми широкими полами, сверкавший золотом на груди и на отворотах, резко выделялся среди белых мундиров слушавших его офицеров. Немного в стороне, сняв из почтения шляпу, стоял кутский управитель Кош. По его жестам и выправке нетрудно было догадаться, что он старый солдат. О том же говорил и багровый шрам над правым глазом — памятка, оставшаяся от битвы под Веной, где девять лет тому назад он сражался против турок в войсках императора Леопольда.

Недалеко от остальных ходов, но всё же особняком, стоял староста Юрий Сыка, по прозвищу «прокура-

тор». Он исподтишка наблюдал за панамид и то и дело поворачивал свою лохматую голову к ходам. Искра, стоявший несколько позади, заметил, что староста осторожно и понемногу придвигается к своим, очевидно желая сказать им что-то. Но помехой ему служил неуклюжий кирасир в чёрной кирасе, с обнажённым палашиом в руках.

Насильно пригнанные сюда старики напряжённо, некоторые — не без страха, смотрели на панов. Большинство, однако, мрачно, но спокойно ожидало, что будет, и спокойнее всех — Матвей Пшибек, на целую голову возвышавшийся над остальными. Его старику-отцу было труднее: стоять утомительно, а сесть нельзя. Единственным облегчением был для него тяжёлый старый чекан, на который он опирался своими жилистыми руками.

Лишь молодой Козина был как-то беспокоен. Он переводил взгляд с немцев на Сыку и тут же оглядывался, искал глазами мать и кивал ей головой. Старуха заметила, наконец, его взгляды и пробралась к нему. Как раз в это время Ламмингер кончил говорить с офицерами, и тотчас же Кош, по знаку своего господина, начал отдельно, громким голосом читать крестьянам какую-то бумагу.

Но старая Козиниха не слыхала, что говорилось в бумаге. Несколько слов, сказанных сыном, ошеломили её.

— Маменька, не за мной пришли немцы, а за грамотами, — торопливо прошептал он. — Хорошо ли вы спрятали их?

Больше он не произнёс ни звука. Но и эти слова как громом поразили старую Козиниху.

Он знает, что грамоты у неё! Кто сказал ему? Не Сыка, нет. Значит, он сам видел тогда. И молчал, Молчал, как могила. А сейчас боится за них.

Эти мысли вихрем пронеслись в седой голове старрой ходки.

Что же делать? Что он хотел сказать?

Она растерянно глядела па сына. Но он больше не оборачивался к ней, а внимательно слушал, что читал Кош, отчеканивая каждое слово и стоя неподвижно, как столб.

«После возмутительного и разнузданного крестьянского бунта 1680 года,— читал кутский управитель,— двенадцать лет тому назад был издан высочайший указ, отменяющий все льготы и привилегии, пожалованные крестьянам до бунта, так как все споры и тяжбы крепостных с их господами возникали именно по поводу этих вольностей и привилегий; тем не менее кое-где, в частности в ходских деревнях, крестьяне продолжают хранить старые грамоты, хотя они утратили всякую силу, неразумно полагая, что могут ещё чего-нибудь добиться с их помощью; мало того, случается даже, как было на днях в этой деревне, что крепостные люди, ссылаясь на старые права и привилегии, позволяют себе насильственные действия и осмеливаются преступно поднимать руку на чиновников его милости, благородного господина Ламмингера, гетмана Пльзенского края.

Несмотря на это, высокородный господин, по милости и доброте своей, готов простить дерзким и забывшимся людям — Яну Сладкому, по прозвищу Козине, и тем, которые ему помогали, но как гетман Пльзенского края и принимая во внимание, что причиной всего были упомянутые мнимые привилегии, он от имени всемилостивейшего монарха изволит строжайше приказать, чтобы все старые грамоты и пергаменты, которые, как установлено, не могут находиться нигде, кроме Уезда, были немедленно и добровольно выданы все до последнего, а в противном случае он своей гетманской властью принудит к этому непокорных и подвергнет их самому суровому наказанию».

Кош опустил правую руку, в которой держал при-

каз, и уставился колючими глазами на крестьян, желая убедиться, какое впечатление произвели на них грозные слова.

Ламмингер слушал чтение с небрежным видом и холодно поглядывал на неподвижно стоявших ходов. Чаще всего его взгляд останавливался на Козине.

Когда Кош кончил читать, на мгновение наступила мёртвая тишина. Приказ явно произвёл впечатление Люди, напуганные кирасирами, лязгом оружия и неожиданным появлением самого гетмана с офицерами, со страхом и трепетом смотрели теперь на тргановского немца.

Козина оглянулся на Сыку, как бы ожидая, что «прокуратор» подаст голос. Но Сыка молчал. Тогда молодой ход заговорил сам.

— Это правда, что читал здесь господин управитель. Я дрался с панскими дворовыми и с управителем. Но ведь управитель рубил мою межевую липу, а я оборонял её и должен был оборонять. Сколько на свете живу, эта липа всегда была козиновской, и раньше тоже — и при покойнике-отце, и при деде, и при прадеде. Наши старики всё это знают. А потому спасибо за милость, только я ни в чём не виноват. А насчёт наших привилегий — так господа сами хорошо знают, что они не потеряли силу. Не потеряли и не потеряют, потому что мы, ходы, тогда не бунтовали. Мы всё время сидели смирно и даже пальцем не пошевелили. А значит, этот венский указ наших прав не касается. Он только для тех деревень, где крестьяне бунтовали.

Вначале Козина говорил немного запинаясь, как бы раздумывая и подыскивая слова. Но вскоре речь его полилась неудержимым потоком. Он говорил горячо и убеждённо. На щеках его выступил румянец, глаза его заблестели. И его ответ оказался сильнее, чем строгий гетманский приказ, тяжёлым камнем лёгший

на сердца слушателей. Речь Козины сбросила этот камень, разогнала тучи. Поражённый Сыка не мог оторвать глаз от смелого оратора, которого он до сих пор не считал достойным доверия в серьёзных делах. Старый Пшибек одобрительно кивал седой головой, а его сын с усмешкой переводил взгляд с Коша на Ламмингера, как бы говоря: «Напрасны ваши хитрости, не на таковских напали!» Приободрились и остальные, уже готовые было совсем повесить голову.

Белёсые ресницы Ламмингера снова затрепетали. Глаза его сверкнули дикой злобой. Офицеры с удивлением следили за поединком между краевым гетманом и дерзким крестьянином.

С трудом овладев собой, гетман произнёс:

— Вы слышали высочайший указ. Советую вам повиноваться. Кто не подчинится, будет считаться мятежником и бунтовщиком. С ним будет поступлено по закону. Вам хорошо известно, какая кара постигла недавно упрямых бунтовщиков.

По выговору Ламмингера слышно было, что чешский язык для него не родной. Произнеся эти несколько слов, он кивнул Кошу, и тот стал допрашивать по очереди всех ходов, что им известно о грамотах и где эти грамоты находятся. Первый из допрашиваемых, полуслепой старик, ответил:

— Не знаю, ваша милость.

Такой же ответ дал другой, третий, а за ними и старый Пшибек. Когда очередь дошла до Матвея Пшибека, тот посмотрел управителю прямо в лицо, злое и красное, и ответил:

— Не знаю, а если б и знал, не сказал бы.

Управитель вполголоса выругался и подошёл к Козине. Его рот искривился в злобной усмешке, когда и Козина, и последний из ходов, староста Сыка, произнесли решительное «не знаю».

Веснушчатое лицо Ламмингера побелело. Офицеры, возмущённые упорством ходов, что-то наперебой за-

шептали ему, но он уже сделал шаг вперёд и заговорил дрожащим от ярости голосом:

— Вы всё равно отдадите свои грамоты и пергаменты, но тогда уже будет поздно, ибо солдаты, которые останутся здесь на постое, уже заберут у вас последний грош и съедят последний кусок хлеба, а вы все, те, что сейчас тут стоите, будете ходить в кандалах, а иные из вас будут висеть на виселице!

При последних словах он взглянул на Козину. Но Козина не опустил глаз перед немцем.

Ламмингер знаком приказал одному из солдат подать ему плащ и, уже стоя на пороге, оглянувшись и громко сказал управителю Кошу:

— Делайте своё дело. Даю вам все полномочия.

Старая Козиниха ничего этого не видела и не слышала. Ещё когда Кош читал приказ, она отдала Павлика Ганке, проскользнула мимо солдат, протеснилась сквозь толпу и бросилась со всех ног домой. Когда немного спустя она хотела снова бежать на съезжую, во двор как буря ворвался Искра Жегурек.

— Ну, как?—спросила его старуха.

— Плохо. Сыка хотел мне что-то шепнуть, но очень трудно было. Я успел разобрать только, что будут обыски по дворам, и чтоб ты это знала. Мне бы оттуда не выбраться, да на моё счастье такая толчея началась, когда немец с офицерами стали на коней садиться.

— Они уехали?

— Уехали. В Трганов. Но солдаты остались. А кутский управитель грозит Сыке и Яну.

Старуха вздрогнула.

— Да что ему нужно?

— Что нужно? Грамоты. У Сыки уж ищут. Всё вверх дном перевернули... Солдаты там... А Ганка ни жива, ни мертва...

— А Ян?

— Как скала.

Козиниха не стала больше расспрашивать. Она бросилась к съезжей — откуда только силы взялись... Ещё издали она слышала шум и крики. Толпа была явно возбуждена. Из съезжей выскочила одна из женщин и закричала, ломая руки:

— Мать пресвятая! Что творится! Ой, несчастные жёны!.. Козиниха, — воскликнула она, увидев старуху, — беги скорей, сына твоего убивают!

Когда старуха, не помня себя, вбежала внутрь, Матвей Пшибек, связанный по рукам и по ногам, вместе со стариком-отцом стоял в углу. Тут же стояла и Манка, прижимая к себе перепуганного Павлика. Ганка, с маленькой дочуркой на руках, ползала на коленях перед кутским управителем, прося пощады для мужа, которого избивали саблями плашмя двое кирасир. В другом углу шла такая же расправа над Сыкой.

— Ганка, встань, не смей просить! — крикнул Козина, но голос изменил ему, когда он увидел мать.

Старуха остановилась как вкопанная. Её сына пытали, повязка с головы его была сорвана, из пезакрившейся рапы текла по лицу кровь. И в то же мгновение невестка, бледная как смерть, обезумевшая от ужаса, бросилась к ней, — она одна может уговорить Яна вспомнить о детях, если не о самом себе.

— Ни слова, маменька... вы поклялись... перед богом... — взывал к ней Козина, боясь, как бы она сама не выдала теперь того, что скрывала до сих пор даже от него.

Несколько секунд старая Козиниха стояла точно окаменевшая. В сердце её походка боролась с матерью. Наконец, не выдержав, она крикнула Сыке:

— Староста! Сына моего убивают!..

— Не бойся, Сыка! Головы нам не отрубят! Не слушай бабьих причитаний!.. — воскликнул Козина.

По знаку управителя кирасиры на время прекра-

тили избиеение. Глядя в упор на Козиниху, Кош сказал:

— Ты, старуха, знаешь всё. Не упрямясь же, говори. Иначе — сама знаешь, что ждет и его, и вас всех.

На секунду воцарилась мёртвая тишина. Все взоры были обращены на старуху, неподвижно стоявшую посреди комнаты. Она бросила взгляд на старосту, на окровавленного сына и в нерешительности молчала.

— Маменька... вспомните, как покойный отец... — начал было Козина, заметив колебания матери, но, прежде чем он успел договорить, старуха подняла глаза на управителя и твёрдо ответила:

— Ничего я не знаю. Откуда мне знать?

— Матушка! — вскрикнула Ганка.

— Так не знаешь, старая? — гаркнул Кош.

— Не знаю, — повторила она глухим голосом.

Управитель ничего не ответил. Он вышел из комнаты и отыскал своего тргановского собрата, который с несколькими кирасирами был занят поисками в помещении старосты. Они тихо посовещались, затем Кош вернулся обратно, а тргановский управитель покинул съезжую и направился к дому Козин. Одновременно трое или четверо кирасир поспешили к усадьбе Пшибеков.

Остальные кирасиры, стоявшие до сих пор с обнажёнными палашами перед съезжей, разошлись по крестьянским домам на постой.

День угасал. На потревоженную деревню спускались сумерки. Вечер, обычно такой спокойный и тихий, сегодня был полон смятения, горя и ужаса. То с одного, то с другого двора доносились голоса кирасир и конское ржание. Толпа перед съезжей поредела. Большинство разбежалось по домам: одни от страха, другие — спасти своё достояние от непривыкших стесняться солдат. Лишь изредка па плю-

щади мелькал белый плащ какого-нибудь из кирасир да слышался лязг тяжёлого палаша.

Стемнело. По небу гнались друг за другом чёрные тучи. Порой между ними проглядывал месяц, на мгновение озаряя площадь бледным светом. В одно из таких мгновений кучка кирасир с громкими криками выскочила со двора Козин и чуть не бегом устремилась к съезжей. Во главе кирасир торопливо шагал тргановский управитель.

Через минуту площадь снова оживилась. Из съезжей выводили арестованных ходов. Впереди шли Козина и Матвей Пшибек со связанными назад руками, за ними Сыка и старый Пшибек, которого поддерживал один из крестьян. Ходы молчали, зато орала и шумела их вооружённая стража. Сквозь окрики кирасир, лязг оружия и топот конских копыт прорывались плач и причитания женщин. |

Вся в слезах, убитая горем, возвращалась домой Ганка с плачущими детьми. Рядом молча с поникшей головой плелась старуха. За ними шла Манка Пшибек. Её дядя Пайдар, молодой Шерловский и постшековский Псутка провожали всех трёх осиротевших женщин к Козинам. Не могла же Манка вернуться в отцовский дом, который был сейчас полон разнuzданных гостей.

Не успели они войти во двор; как увидели, что кирасиры похозяйничали тут. В горнице всё было перевёрнуто вверх дном, сундуки взломаны, двери чуланов выбиты, иные расколоты в щепы. Поражённые этой картиной, мужчины не заметили, как старая Козиниха исчезла из горницы. Она бросилась через двор к себе. Там, в маленькой горнице, её ждал такой же разгром, как и у сына. Но старуха даже и глазом не моргнула. Она кинулась к низенькой боковой двери и... застыла на пороге. При свете месяца, проникавшем сюда через небольшое оконце, она сразу увидела всё. Две половицы были вырваны и валялись у

стены, а на их месте зияла глубокая яма. Яма была выложена кирпичом; повидимому, она служила тайником ещё в стародавние бурные времена.

Ларец с ходскими документами — драгоценное сокровище ходов, исчез. Кирасиры нашли и похитили его.

Старуха стояла, опустив голову и скрестив руки, как над открытой свежей могилой. Тяжёлый вздох вырвался из её груди. Вдруг она лихорадочно стала ощупывать себя обеими руками. Лицо её просветлело, и на плотно сжатых губах промелькнула усмешка.

VII

Тучи на небе редели, скрываясь за грядой обрывистых гор. Лишь изредка хмурая сердитая тучка мчалась за ними, словно одинокая, запоздавшая птица, распростёршая чёрные крылья в погоне за стаей подруг, потонувших в необозримой дали. Лунный свет разливался по всему Шумавскому краю, по склонам Чешского Леса, по нагорьям Кленеча и Ходова, по стенам и башням тргановского замка.

Недавно выстроенные стены замка серебрились сквозь обнажённые ветви деревьев. Окна с раннего вечера сверкали огнями. В замке были сегодня гости — офицеры, приехавшие с хозяином замка из Пльзена: полковник граф Штамбах и молодой ротмистр граф Вертба фон Фрейденталь, который, если верить шопоту слуг, имел виды на младшую дочь хозяина, Марию. Старшая, Барбара, была уже замужем за Вацлавом Грозной, графом фон Гутштейн, полковником императорской службы.

Хозяева долго занимали гостей. Был уже одиннадцатый час, когда погас свет в окнах большого зала. Некоторое время свет мерцал ещё в окнах соседних покоев, отведённых для гостей, но, наконец, погас и там.

Лишь два окна до рассвета бросали красные отблески на голые ветви деревьев. До рассвета таяли свечи в рабочем кабинете хозяина. Ламмингер сидел в кресле у камина, в котором ярко пылал огонь. Рядом сбоку стоял резной стол, а на нём окованный железом дубовый ларец. Пристально глядя холодными, прозрачно-голубыми глазами на вытянувшегося по-солдатски управителя, барон слушал его доклад. Кош рассказывал, что происходило в Уезде после того, как уехал высокородный господин барон. В виде меры предосторожности Кош приказал сперва связать Матвея Пшибека, а затем стал добиваться признаний от Козины и Сыки.

— Кто из них больше упорствовал?

— Козина, ваша милость. Когда его жена бросилась предо мной на колени, он стал кричать ей, чтобы она шла домой.

— Гм!..

— А тем временем делали обыск у Сыки. Но ничего не нашли. Я и на женщин пробовал воздействовать — мы их нарочно туда пустили. Грозил им карой, ожидающей их мужей. Но они ничего не могли сказать. Должно быть, не знали.

— Вы так думаете?

— Тут прибежала мать Козины. Та кое-что знала...— И Кош рассказал, как он её допрашивал, а потом послал тргановского управителя в усадьбу Козин.

— Пока он там рылся, я как следует пригрозил старухе. Но эта баба — что кремень. Та, молодая, жена Козины, та сказала бы. Она так плакала и так тряслась от страха. Только я думаю, что её не посвятили в тайну.

— Так. А что они сказали, когда принесли ларец?— и взгляд барона остановился на дубовом ларце.

— Это было для них точно гром среди ясного неба, ваша милость. Сыка так и осел...

— А Козина?

— Тот оказался крепче. Только мотнул головой. А этот голворез Пшибек даже прикрикнул на отца, когда старик заскулил над ларцом. Молчите,— сказал он,— грамоты отняли — кулаки остались.

— Так. Шли сюда смирно?

— Смирно, ваша милость. Больше не сопротивлялись. Ни Козина, ни Пшибек.

— Куда вы их посадили?

— Козину и Пшибека в подвал, порознь. Остальных велел запереть вместе. Если угодно будет приказать по-иному...

— Нет, хорошо.

— Я посадил и того волынщика из Уезда. Он сначала сбежал со съезжей, но потом, когда мужиков уже уводили, сам явился опять.

Ламмингер слегка кивнул головой.

— Не будет ли ещё каких приказаний, ваша милость?

— Нет. Можете идти.

Управитель низко поклонился и вышел. Его тяжёлые мерные шаги прозвучали, удаляясь, за дверью и замерли. В комнате наступила тишина. Ламмингер встал и приподнял крышку ларца; замок его был взломан. С минуту он неподвижно глядел на пожелтевшие пергаментные свитки, в которых уже рылась рука управителя, потом вынул наудачу один из свитков со старинной печатью и, развернув его, пробежал первые строки.

«Мы, Карл, наследник повелителя и короля Чехии, маркграф Моравии, сим возвещаем, что так как отца нашего и наши возлюбленные верноподданные ходы из Домажлиц...» — читал барон по-латыни. Потрескивали поленья в камине и позванивали порою оконные стёкла, когда налетал порыв ветра.

Ламмингер достал другой свиток с большой печатью. Эта грамота была на чешском языке. «Мы, Рудольф, божьей милостью император священной рим-

ской империи и король чешский...» Но он успел прочесть только несколько строк. Ему помешали. Двери из соседнего покоя открылись, и вошла супруга барона, тихая, медлительная женщина с приветливым бледным лицом. Она была ещё в пышном, вышитом шелками платье, в котором принимала гостей. При свете двух восковых свечей, горевших на столе возле барона, переливались огнями жемчуга и камня аграфов на атласных розетках, украшавших её грудь и плечи над широкими, сборчатыми рукавами, между белыми буфами которых пестрели бесчисленные разноцветные ленточки, завязанные замысловатыми бантами. Сзади и над ушами красивые тёмные волосы баронессы были завиты в локоны, а на лоб её спускались мелкие кудряшки.

Баронесса вошла осторожными шагами и робко взглянула на мужа.

— Я не помешала?— тихо спросила она.

— О, нисколько, хотя я и занят весьма увлекательным чтением.

Баронесса облегчённо вздохнула. Так весело муж давно уже с ней не разговаривал.

— Я хотела, дорогой, напомнить вам, что надо побережь себя. Вам следовало бы отдохнуть, поездка верхом всегда утомляет вас...

— Сегодня я не чувствую усталости. За этим стоило поехать,— и он указал на развёрнутую грамоту Рудольфа.

Баронесса нагнулась над свитком.

— Ах, смотрите!— воскликнула она, указывая на подпись канцлера королевства чешского — «Ладислав из Лобковиц».

— Да, ваш предок. Высокородный канцлер, когда скреплял грамоту, едва ли думал, что она доставит столько хлопот его потомству. Но теперь она в моих руках!

— Я слышала, что эти люди сопротивлялись и не

хотели отдавать грамоты. И, кажется, не обошлось без крови?..

— Да, правда. Что делать!

— А эти грамоты действительно так нужны вам? — нерешительно спросила баронесса.

Ламмингер насупил свои рыжие брови.

— Ну да, вы жалеете этих бунтовщиков...

— Да ведь грамоты уже недействительны...

— Я тоже говорю так всем, а всё же я их боялся, дорогая. Будь я прокуратором ходов, я бы сумел выиграть дело. Погода при дворе непостоянная и не всегда для нас благоприятна. Вспомните только, что было при покойном Фердинанде III, когда тот молодец, Игнатий Грейфенбергский, взялся отстаивать этих холопов, и чего мне стоило потом, при князе Ауэрсперге, разбить его юридические построения. Если бы его послушались, то все эти владения не были бы сейчас моими, а между тем грамоты и тогда были ничуть не более действительны, чем сегодня. Основываясь на этих грамотах, наши мужики могли возобновить судебный процесс хоть завтра. А теперь кончено.

Ламмингер удовлетворённо усмехнулся. Но на лице его супруги лежала тень. Она молчала, и только затаённый вздох слетел с её губ. Муж пристально взглянул на неё и отрывисто произнёс:

— Вы, кажется, хотите что-то сказать?

— Хотела бы, но не решаюсь... Я слышала, что этих людей из Уезда будут наказывать... палками... и что сегодня им не давали есть...

— О, вы милосердны даже к врагам своим. Да, они будут наказаны.

— Среди них есть один раненый и один совсем дряхлый старик...

— Об этом раненом лучше не говорите. А старика и тех, которые не так упорствовали, я пощажу — ради вас. Но уже поздно, дорогая. Ложитесь спать. Сего-

дня вы можете спать спокойно. Этим замком и этими землями будут вечно владеть наши дети и внуки. Порукой тому будет пепел, который останется от этих пергаментов.

И Ламмингер холодно поцеловал жену, прощаясь с ней на ночь. Она не решалась больше наставлять. Весёлый вид мужа сначала обрадовал её, но теперь она уходила смущённая и огорчённая. Оставшись один, Ламмингер прошёлся по комнате, затем остановился у стола, где стоял ларец с грамотами. Он задумчиво глядел на них, но больше не читал их. Наконец он взял один из свитков и сделал шаг к камину. Он поднял уже руку, чтобы кинуть в огонь это древнее свидетельство ходских вольностей, но вдруг рука его опустилась. Какая-то новая мысль пришла ему в голову. Он снова вернулся к столу, уложил свиток в ларец и захлопнул крышку.

VIII

Ночью ударил мороз. Больше всех почувствовали его узники в тргановском замке. Сидя на голом полу, уездские старики, а с ними староста Сыка и Искра Жегурек, жались в кучку вокруг старого Пшибека, попрежнему не расстававшегося со своим чеканом. Ещё с вечера они успели переговорить обо всём. Говорили о Матвее Пшибеке и ещё больше о Яне Козине, о его смелости, его мужественной речи, обо всём его сегодняшнем поведении. Козина сегодня всех удивил. Только Искра Жегурек, улыбаясь, сказал:

— Вот! А никто мне не верил, когда я говорил про него — крепкий парень!

Но тут старый Вахал напомнил горькую правду:

— А что толку? За что терпит Козина, за что досталось тебе, староста, и твоему Матвею, Пшибек, если добыча всё равно у волка в зубах?

Тяжёлым камнем ложились эти слова на душу узников. Все примолкли, погружившись в собственные мысли. Да и вольнщику было сейчас не до шуток...

Около полуночи отворились двери. Вошёл сторож с большим фонарём, а с ним двое дворовых. Один бросил на пол охапку соломы, другой поставил хлеб и воду. Разостлав ослому, старики взялись за хлеб. Только Сыка и старый Пшибек не притронулись к еде. Кусок не шёл им в горло. И когда остальные растянулись на соломе, собираясь заснуть, они не легли, а остались сидеть.

Медленно умирала тихая ночь. В предрассветных сумерках через два небольших оконца мутно виднелся вдали тёмный дремлющий лес. Оба хода, не отрываясь, смотрели туда. Староста Сыка произнёс вполголоса:

— Это всё было наше...

— Да,— отозвался старик,— ещё дед мой расхаживал там как хозяин, а теперь мы смотрим на этот лес из темницы...

Они замолчали, но вдруг староста воскликнул, указывая рукой:

— Глянь-ка, Пшибек, вон там, над лесом, какая звезда!

Пшибек поднял глаза и перекрестился.

— Комета,— медленно проговорил он,— знамение божие!

Над косматым гребнем чёрного леса на тёмносинем небе сияла комета с длинным, обращённым кверху хвостом.

— Ну, и громадина! — удивлялся Сыка.

Ходы все уже смотрели на небо. Одни привстали на колени, другие поднялись совсем. Все слышали восклицание Сыки, потому что никто из них не мог сомкнуть глаз.

— Комета спроста не бывает,— объяснял старый Пшибек.— Я видел несколько на своём вку, и вся-

кий раз была потом война или голод и мор. Но такой большой я ещё не видал. Разве только в тот раз... и был тогда подпаском... перед той войной, что тянулась, и тянулась, и тянулась целых тридцать лет. Как сейчас всё помню. Мы сидели все на завалинке и глядели на небо. Мой дед верно напроорочил тогда, что беда придёт, большая беда. Он ещё знал лучшие времена: На жупане и на камзолѣ у него была ещё золотая кайма, а нам осталась только вот эта чёрная... И дожил старик до того, что собственными глазами увидел, как сбываются его слова. Довелось ему видеть, как императорское войско всё у нас позабирало — ни козлёнка в хлеву, ни ломтя хлеба в доме. Смолоду носил он жупан с золотом, а на старости лет ходил оборванный и голодный, как нищий. И не осталось у него ничего, кроме этого вот чекана!.. А когда вспоминал он про ту звезду, или кто при нём заводил речь о старых временах, слёзы у него так и текли из глаз. Да, так вот. Ему было плохо тогда, а что бы он сказал сейчас? Тогда ещё была надежда, а сейчас... — голос у старика дрогнул, — эта звезда... что-то она принесёт нам...

— Нам ничего. Господь бог забыл нас, — горестно вставил старый Вахал.

Все повернулись в его сторону. За такие слова раньше все осудили бы его как богохульника, но сейчас никто не проронил ни звука. Должно быть, молчание было знаком согласия...

В то время как старый Пшибек с тревогой смотрел на зловещую звезду, его сын, Матвей, лежал, растянувшись на холодном земляном полу, и спал, подложив под голову свою большую широкополую шляпу. Сон богатыря-хода не был спокоен. Матвей вздрагивал и вскрикивал во сне. Он продолжал бороться с врагами и возмущаться их подлым коварством, — набросились вдруг на него, как на злодея, и скрутили перёвками!

В соседнем узилище на источенном червями бревне сидел у стены Козина. Прислонившись головой к холодной стене, он глядел на видневшуюся сквозь ржавую решётку крохотного оконца полоску звездного неба. Он всё перебирал в уме события истёкшего дня. Он не корил себя и не жалел ни о чём.

В душе его было спокойствие. Спокойствие решимости и бесповоротного выбора. Всё прояснилось. Не было больше сомнений, не было гнетущей духоты перед грозой. Гром грянул, но зато рассеялась туча, нависшая над совестью и честью. Прошедший день очистил Козину перед всеми; ходы знали теперь, что он не таков, каким его считала даже собственная мать.

И при этом на глазах у всех подтвердилась истина, в которую он не переставал верить: ходские права всегда имели и сейчас имеют силу, что бы ни твердили немцы с их *perpetuum silentium*. Иначе почему бы Ламмингеру так понадобились грамоты? Так неужели же отдать свои права без боя!

Козина вспомнил о матери. Как она взглянула на него там, на съезжей, когда поняла, что он знает тайну, и каким взглядом провожала она его вечером, когда ходов уводили в замок!.. Сейчас она, должно быть, с детьми и с Ганкой, все вместе. Дети спят, а Ганка — та, бедняжка, плачет... Дети, наверное, спрашивали, где папа... Дети... Павлик, Ганалка — кудрявая головка...

Глаза Козины понемногу слипались, и, наконец, сон смежил его усталые веки. Но не знающие усталости думы вырвались из стен темницы и понеслись через лес, далеко, пока не остановились у расписанной нехитрыми узорами кровати, где под высоким пологом спали круглолицый мальчуган и белокурая девчурка, а над ними со счастливой улыбкой склонялась молодая мать...

На следующий день Ламмингер пригласил обоих своих гостей в замковую канцелярию.

В просторной, чисто выбеленной канцелярии было довольно уютно. В камине ярко пылали дрова. Все трое уселись вокруг огня в обитые кожей кресла и возобновили начатый ещё по пути в канцелярию разговор.

Говорил сам хозяин.

— Они не успокоились бы, пока у них оставался бы в руках хоть обрывок пергамента. Это хитрый народ... Они молчали и не подавали голоса, но как только представился бы удобный случай... Вы понятия не имеете, что это за люди,— упрямые, несговорчивые. Они ни за что не желают расстаться со своими привычками. Я хорошо помню, как было дело, когда при покойном отце их заставили сдать оружие. Они долго сопротивлялись, пока выдали эти старые пицали и ружья. Да и то не сразу... Сколько понадобилось настояний, угроз и наказаний...

— Ну, а теперь привыкли жить без оружия...— с усмешкой заметил граф Штамбах.

— Конечно. То же самое будет и с грамотами.

— Что же, значит, это мужичье было организовано по-военному?— спросил молодой ротмистр.

— Даже знамя было у них и знаменосец.

— Вот как!

— Тот исполинский ход,— помните, на съезжей, он был там выше всех на целую голову,— это их последний знаменосец. Он же и сдавал их знамя. Знамя они отдали позже всего. Долго не удавалось выяснить, где они прячут его. А оно было здесь, в Уезде, как и грамоты. У отца этого великана. Я послал за знаменем мушкетёра, но они не отдали его. Только когда им пригрозили как следует, они сами принесли его. Надо было видеть это зрелище! Знамя нес сам Пшибек, а с ним пришла чуть не вся деревня— его отец, староста, разные выборные и все

мужчины. Это были почётные проводы знамени! — насмешливо добавил барон. — А когда они сдавали его здесь, в канцелярии, старый Пшибек расплакался, да и многие другие из этих упрямцев утирали слёзы.

— Словно старые ветераны, — вставил полковник.

— А это знамя где-нибудь сохраняется или уже уничтожено? — поинтересовался ротмистр.

— Оно, кажется, где-то здесь, среди старогохлама. Управитель, наверное, знает. Хотите взглянуть, господа?

Да, офицеры хотели бы посмотреть на мужицкое знамя. Ламмингер протянул руку к колокольчику, и позвонил. Управитель уже стоял у дверей. По приказанию барона, он достал ходское знамя. Оно стояло за большим шкафом, где хранились бумаги. Управитель не без труда вытащил знамя из пыльного угла, сбегал во двор, чтобы отряхнуть с него пыль, и принёс обратно.

— Древко надломлено, — сказал он, развёртывая знамя, когда-то белое, окаймлённое чёрной полосой, а сейчас неузнаваемого цвета. Знамя было разодрано в нескольких местах.

— Это не от гнили, это почётные раны, — заметил полковник, рассматривая дыры.

— А вот и герб — песья голова! — воскликнул граф фон Фрейденталь, указывая на вытертую, полинявшую вышивку.

— Им больше подходила бы бычачья голова! — засмеялся Ламмингер и, обратившись к управителю, спросил, как ведут себя ходы.

— Как и вчера, ваша милость. Козина и Пшибек, да и тот вольничик даже не пикнули, когда их драли лозами.

Ламмингер, ничего не ответив, повернулся к офицерам.

— Приступим, господа?

— Да, можно пачинать,— согласился полковник.

Ламмингер кивнул управителю. Тот прислонил ходское знамя к стене и вышел за дверь. Минуту спустя он вернулся с кутским управителем Кошем и двумя чиновниками барона. За ними вошли узники с Козинной и Матвеем Пшибеком во главе. Ходы выстроились полукругом перед бароном и обоими офицерами. Управитель, знавший замысел своего хозяина, поставил на стол перед Ламмингером ларец с ходскими документами. Старый Пшибек и Сыка вздрогнули при виде ларца. Матвей Пшибек с помрачневшим лицом смотрел на старое знамя.

— Узнаёте?— ледяным тоном начал Ламмингер, указывая на ларец.

При этих словах управитель поднял крышку ларца и стал вынимать грамоты одну за другой, так чтобы ходы видели их.

— Все как есть тут!— произнёс он как бы невзначай и при этом исподтишка поглядел на старосту Сыку.

Сыка зажмурил глаза.

— Все, ваша милость!— подтвердил он.

— Ну, так проститесь с ними!— сказал управитель. Взяв большие пожницы, он принялся отрезать от грамот печати, бросая их в пылающий камин, а затем туда же побросал и все грамоты. Пламя зашипело и вспыхнуло ярче. В мгновение ока были уничтожены гарантии прав и вольностей, которые почитались и соблюдались в течение нескольких столетий. Из присутствовавших здесь ходов только старый Пшибек пользовался когда-то благами этих вольностей. Остальные знали золотую свободу только по рассказам стариков. Но каждый из них знал и верил, что юкровище утрачено не навсегда, и волшебным ключом к нему являются эти старые грамоты, унаследованные от предков. И вот теперь грамоты пожирает огонь, сейчас они превратятся в горсть пепла, и вместе с

ними навсегда погибает надежда на избавление от позорного рабства.

Ламмингер обвёл глазами ходов. Злорадный огонёк горел в его холодном взгляде. Да, он не ошибся, и расчёт его был правилен. Наконец-то! Вчера ещё они упорствовали, даже когда он им грозил солдатами и виселицей! А сейчас... Сейчас они повесили свои упрямые головы. И как уныло и мрачно глядят они на огонь, даже этот богатырь Пшибек! Но это ещё что? Козину не смирили ни палки, ни это зрелище? Он ещё может усмехаться? Да, усмехаться, и ещё с презрением! Ну, подожди, скоро тебе будет не до смеха...

В канцелярии стояла мёртвая тишина. Только в камине слышалось шипение и треск, когда падала туда печать или грамота и её охватывал огонь. Прежде чем бросить в роковое пламя последнюю грамоту, управитель на мгновение остановился и повернулся к ходам.

— Конец вашим привилегиям. Теперь, когда они уничтожены на ваших глазах, в присутствии высокогородных господ (он перечислил все титулы) и чиновников нашего милостивого пана, вы, надеюсь, образумитесь и не будете больше твердить о них.

С этими словами он хотел кинуть последний свиток в огонь, но по движению барона догадался, что тот тоже намерен что-то сказать, и застыл с поднятой рукой.

— Выполняйте отныне свои повинности добросовестно, как полагается крепостным, иначе вам же будет хуже,— строгим тоном произнёс Ламмингер.— Вы сами видите, что споры до добра не доводят.

Он кивнул управителю, пожелтевший пергамент описал дугу в воздухе и исчез в огне. В то же мгновение прислонённое к стене ходское знамя покачнулась и упало прямо на решётку камина. Одним прыжком Матвей Пшибек очутился у камина и схватил знамя, чтобы спасти его от огня. Но уже было поздно.

Пламя охватило шёлк, а когда Пшибек стал махать знаменем, пытаясь погасить огонь, оно превратилось в пылающий факел.

Ламмингер и оба графа в замешательстве отшатнулись от Пшибека. Помещение наполнилось дымом, который прорезывали огненные языки, пожиравшие ходское знамя. Пшибек прижал знамя к полу и пытался погасить огонь рукой. Но старания его были тщетны. Он обжёг себе руки, но от знамени осталось только древко. Пшибек, однако, не жалел об ожогах; ходское знамя погибло по крайней мере в его руках и не досталось на посмешище немецким живописцам.

Запах гари выгнал господ из канцелярии. Ламмингер пригласил своих гостей в соседнюю комнату, зная и на управителя, и на «этого подлого мужика». За Пшибека, смеясь, вступился, однако, полковник: что ни говори, а у холопа добрая солдатская кровь, и будь этот великан чуточку помоложе, он охотно взял бы его к себе в полк, ему таких нехватает.

Вскоре оба офицера, в сопровождении кирасир, выехали из тргановского замка и направились к Уезду.

А попозже, уже к концу дня, из ворот замка вышли ходы. Сзади всех шли старший Пшибек, опиравшийся на чекан, и его сын, Матвей, несший на плече древко погибшего знамени. Тргановский управитель хотел отнять его у Пшибека, но кутский Кош со смехом сказал:

— Оставь ему этот обломок на память. Пусть вспоминают свою былую славу!

Когда ходов выпустили, господская челядь провожала Матвея насмешками, но он и бровью не повёл. Он шёл, опустив глаза в землю, — не от стыда, а из осторожности, чтобы не вспылить и не проучить немецкую дворню за её наглый смех.

Сыка шагал рядом с Козинной и то и дело поглядывал на него, как бы ожидая, что он скажет. Но мо-

лодой ход молчал, словно не замечая этих вопрошающих взглядов.

Печальное было возвращение. Никто не произнес ни звука. Только старый Вахал раз прервал молчание:

Да, конец... Всему конец...

IX

Гости тргановского папа недолго задержались в Уезде. Они забрали кирасир, занявших вчера ходскую деревню, и всем отрядом тронулись в дальнейший путь. Теперь, когда Ламмингер по-своему распорядился с грамотами и достаточно застрашал ходов, надобности в солдатах, повидимому, не было.

Ходы почувствовали облегчение, когда непрошенные гости скрылись из виду. Облегчение, но не радость, ибо в тргановском замке ещё томились узники, а драгоценное сокровище ходов, их единственная и последняя надежда на освобождение от тяжкой неволи, было украдено.

В доме Пшибеков, как и всюду в деревне, было грустно и тихо. В горнице одиноко сидел Пайдар, поджидая свою племянницу Манку. Он не вернулся в Пошиновицы и ночевал здесь, чтобы Манке не пришлось оставаться одной с кирасирами. Молодого Шерловского он услал, наказав ему объяснить дома, почему он задержался в Уезде, и передать, что он вернётся, как только тут полегчает. Шерловский послушно отправился в путь. Он, правда, охотнее остался бы тут или взял бы Манку к своим, если бы она согласилась. Всю дорогу он тревожился за неё и успокаивал себя только тем, что старый Пайдар не допустит, чтобы её кто-нибудь обидел.

Он беспокоился о ней больше, чем она сама. Манка и слышать не хотела о том, чтобы идти в Поци-

повицы к его родным. Она ничуть не боится солдат, а кроме того, с ней остаётся дядя. Да! и как она может уйти, когда не знает, что с её отцом и дедом? Им были заняты сейчас все её мысли, и она спрашивала о них всех, кого можно.

К концу дня Манка влетела в горницу и принялась рассказывать дяде Пайдару, что она слышала у Козин. Старая Козиниха только что вернулась из Трганова, куда ходила уже второй раз,— в первый раз она побывала там рано утром; старуха оба раза бродила вокруг замка, стараясь разузнать, что случилось с её сыном и остальными. На этот раз она вернулась с вестями. Горькие вести... Немцы жестоко обошлись со всеми ходами, особенно с отцом Манки и Козиной. У девушки задрожал голос, когда она рассказывала, что её отца, Козину и вольничика Искру избивали палками. Пайдар, до сих пор неподвижно сидевший у обрубка липового ствола, порывисто встал. Он был как громом поражён этой вестью. Дела не слыханные в ходском краю! Уважаемых всеми людей бить, как бродяг или воров!..

— Палками? Нас?.. И мне случалось быть битым в драке, но такое дело... Ишь ты, чего захотели, немцы!..

Манка ещё говорила об узниках, об отце и о деде, когда во дворе скрипнула калитка и в наступающих сумерках мелькнули две тени. Отворилась дверь, и вошли те, о которых она говорила. Первым переступил порог старый Пшибек, усталый, сгорбленный, с растрёпанными ветром и мокрыми от снега волосами. «Добрый вечер!»— произнёс он. Манка бросилась к нему и схватила его за руку; лицо старика прояснилось. Следом за отцом вошёл Матвей. Он не проронил ни звука и молча пожал протянутую руку Пайдара. Затем поставил в угол древко знамени и коротко сказал дочери, чтобы она сварила деду похлёбку. Только после этого он опустился на стул и, об-

локотившись о самодельный липовый стол, подпер голову ладонью.

Манка возилась у печи, но внимание её было занято больше отцом, чем огнём и дровами. Пайдар подошёл к Матвею и нарушил томительное молчание.

— Да, пришлось вам потерпеть... А правда, что они вас палками...

— И тебе тоже надо знать!..— закричал на него Матвей.— Молчи лучше! Хватит с меня.. Обокрадут, как воры, да ещё и бьют... Нет, этого позора я им не забуду! Господом богом клянусь!..

Свет от зажжённой Манкой лучины упал на Матвея. Он уже не сидел, а стоял, выпрямившись во весь рост, с поднятой к небу рукой, бледный, со сверкающими глазами.

Старик, сидевший на краю постели, смотрел на сына и, сложив вместе свои высохшие, узловатые пальцы, вполголоса бормотал:

— Эта звезда... эта звезда...

Старая Козиниха сидела одна в своей горнице и молилась. Она давно нуждалась в этой минуте одиночества и молитвы. После того как у неё похитили грамоты и увели её сына, она всю ночь не смыкала глаз. До утра просидела она у невестки, а едва забрезжил день, старуха набросила тулуп и поспешила в Трганов. Долго всматривалась она в белые степы господского замка, в надежде хоть уголком глаза увидеть Яна или узнать, что с ним. Но пришлось ей вернуться ни с чем. Дома её ждала невестка, сидевшая как на горячих угольях. Она и сама готова была полететь в Трганов, если бы не дети и не солдаты тут же под боком.

Дивные дела творятся на свете! Старуху-свекровь со вчерашнего дня точно подменили: до сих пор она всегда чуждалась Ганки, а теперь относилась к ней

лучше, чем к родной дочери. Возилась с детьми, хлопотала у печи и старалась не волновать Ганку; вернувшись из Трганова, она не сказала невестке всей правды.

Сейчас старуха погрузилась в молитву. Тихо было вокруг. Только ветер заунывно посвистывал в сумраке осеннего вечера. Вдруг во дворе хрипло залаял Волк. Старуха прислушалась, но собака скоро умолкла. Козиниха снова склонила голову, но недолго пришлось ей молиться. Послышались быстрые, мелкие шажки, и в горницу, запыхавшись, ворвался маленький Павлик. «Папа пришёл!»— крикнул он. Не успела Козиниха добежать до порога, как появился сам Ян с Ганалкой на руках, а за его спиной виднелось сияющее лицо Гашки.

Старуха не в состоянии была произнести ни слова: обвязанная голова, бледное лицо... Глаза её наполнились слезами, она молча протянула сыну руку. В этом жесте был и радостный привет, и просьба о прощении. Сын, тронутый, крепко пожал протянутую руку.

На всех лицах была написана радость. Детей клещами нельзя было оторвать от отца. Ганка засыпала его вопросами: что было в замке, как обращались с ним там? Козина коротко отвечал на её вопросы и перевёл разговор на кирасир. Как они хозяйничали тут в усадьбе и вообще в деревне? Мать говорила мало. У неё всё время вертелся на языке один вопрос, но она видела, что сын избегает его.

Неожиданно пришёл гость — дражиновский дядя, Криштоф Грубый. Грубый горячо потряс руку племянника и сказал:

— Слышал, слышал уже, родной!

Он снял плащ и широкополую шляпу и подсел к столу. Молодая хозяйка ушла готовить ужин.

— Значит, ты знаешь, Криштоф...— начала старая Козиниха, издали приближаясь к вопросу, который ей так хотелось задать.

— Да, сожгли наши грамоты...— отвечал он со вздохом.— Но не наше право!

Этого старухе было достаточно. Теперь она знала, что хотела.

В это время в сенях послышались шаги, и в горницу вошёл «прокуратор» Сыка.

— Теперь уже не будем от него таиться, — начал он ещё в дверях, кивая на Козину. — Он сам прокуратор, хоть куда. А пришёл я к вам вот зачем. Ты знаешь, старая, что в ларце были не все грамоты? Я хорошо считал... А управитель, тоже хитрец, будто невзначай спрашивает, — все, мол, тут грамоты? Ну, да и я не лыком шит. Сразу смекнул, как и что.

— Не все, говоришь? Да откуда им взяться всем! — с живостью ответила старая крестьянка. Она вскочила на ноги, развязала платок на груди и вытащила из-за пазухи пергаментный свиток с печатью, а за ним и другой. — Вот, два самых важных! Ты, Сыка, говорил, что их одних было бы достаточно для суда, что тут все наши права.

Козиниха стояла у стола, держа в высоко поднятой руке пожелтевшие пергаменты с висящими на шнурах печатями. Она обвела взглядом мужчин. Поражённые, они повскакали с мест — и её сын, и рассудительный Сыка, и седой дражиновский староста. Сыка жадно потянулся к пергаментам.

— Да, да, те самые, наши! — улыбаясь, сказала Козиниха. Она сразу подумала о них, когда сын на съезжей шепнул ей, что немцы явились за грамотами. Ну, а раз сына забрали, значит, будут рыться и у них в доме. Она во-время успела выхватить из ларца эти две грамоты и сунула их за пазуху, вместе со старой ходской печатью. И при этих словах она вынула из ящика стола и печать.

— Этого немцы у нас уж не отберут! — решительно добавила она.

— Не отберут! — горячо подхватил её сын. — Не отберут, да и за те, сожжённые, Ломикар нам заплатит! Заставим!

Глаза его горели, на бледных щеках выступила яркая краска. Старый дядя одобрительно кивнул головой, а Сыка порывисто протянул отважному ходу свою большую, тяжёлую руку.

В это время в доме напротив горшки так и летали в руках у Ганки. У неё было легко на душе: муж вернулся и больше не сможет ссориться с немцами. Немцы забрали эти старые грамоты. Теперь с этим кончено... Ганка не очень жалела о грамотах. Сколько споров, тревог и несчастий было уже из-за них, и всё понапрасну!

Ян, конечно, жалеет о них, но понемногу забудет, и тогда настанет покой, тогда он снова будет безраздельно принадлежать ей и детям.

Х

С той самой ночи, когда уездские ходы сидели за решёткой в трагювском замке, морозы больше не прекращались. Зима по-настоящему вступила в свои права. В долинах ветер ещё сдувал порошу, но в горах белый покров залёг прочно. Вершины Черхова, Гальтравы, Шкарманьца и других гор, как здесь, в ходском крае, так и дальше, где тянулся могучий Шумавский хребет, оделись белыми шапками. А оттуда белая пелена расползлась вниз по лесистым отрогам и склонам, прорезая тёмную синеву притихших лесов.

Притих и весь ходский край.

Можно было подумать, что люди напуганы недавними происшествиями в Уезде. Нигде не было ни взрыва возмущения, ни драки с панскими людьми, точно у негодных ходов вместе с их грамотами сгорела и вся их отвага.

Но эта угрюмая тишина не свидетельствовала о покорности или малодушии. Это было затишье перед бурей.

По всем окрестностям, от Постшекова и до отдалённых Поциповиц, словно на крыльях ветра, разнёсся слух о том, что сделали в Уезде со старостой Сыжкой, с Козинной и Пшибеком, с его ютцом и другими крестьянами, и как немец Ламмингер похитил старец с ходскими грамотами. Многие понурили головы в тяжком раздумье. Много глубоких вздохов вырвалось при мысли, что теперь всему конец. Но ещё больше слышалось проклятий, посылавшихся новому замку в Трганове и его владельцу. Тоскливые вздохи тонули в потоке пылких речей о новом насилии немцев.

В этих речах звучала слава уездским ходам, которые так мужественно отстаивали унаследованный от отцов залог старых прав. Больше всего говорили о молодом Козине; дивились его твёрдости, смелости, с которой он выступил против самого Ламмингера в присутствии высокородных офицеров, не боясь стоявших с обнажёнными палашами солдат.

Первыми побывали в Уезде друзья и знакомые из Дражинова, Постшекова и Ходова; они хотели расспросить обо всём и просто повидать людей, которые пострадали за всех. Потом стали появляться и крестьяне из самых отдалённых ходских деревень — почитаемые всеми, много видевшие на своём веку старики. Они либо прямо стучались к Козине, либо заходили сначала к Сыжке, а затем вместе со старостой отправлялись позвать руку отважному молодому ходу. Посидев и потолковав с Козинной, они прощались, и, уходя, почти каждый из них спрашивал:

— Ну, а дальше-то как?

— Пока помолчим, а потом услышишь. Разговор ещё будет, — отвечал им Козина.

Он ни разу даже не заикнулся о том, что не все грамоты погибли, что ещё две остались, как раз самые главные. Так посоветовал ему Сыжка. О грамотах знали пока только он, его мать, Сыка и Грубый.

Ганка, глядя на мужа, только диву давалась. Она думала, что на первых порах он будет ещё задумчивее, чем был последнее время, и тргановский замок не скоро выйдет у него из головы. А он стал весёлым и разговорчивым. Правда, не таким, как до женитьбы; таким Ганка его больше никогда не видала, — тень какой-то тайной заботы и тайных дум постоянно лежала на его лице. Дивилась Ганка и тому, что он так зачастил теперь к матери. А когда она заходила за ним, то нередко бывало, что при её появлении мать и сын быстро меняли разговор. Они что-то скрывали. Но что? О чем они могли говорить?

Конечно, не о ней, потому что свекровь стала к ней теперь гораздо ласковее, а на Яна она тоже не могла пожаловаться. Но всё же эти разговоры её тревожили. И однажды под вечер она воспользовалась подходящей минутой, когда они сидели вдвоём — она с Ганалкой на руках, он с Павликом на коленях, весёлый и довольный, словно сбросивший с себя все заботы. Ганка спросила мужа, не тяготит ли его какая-либо тайная дума. В этих немногих словах вылилась вся её самоотверженность, все её сердце, живущее одной мыслью о нём.

— Что это тебе пришло в голову? Какие могут у меня быть тайны с матерью? Просто она — старая ходка, да и мне не легко всё забыть. Беседуем иногда, вспоминаем старые времена. Нет, Ганка, пусть это тебя не тревожит. Ты и дети для меня милее всего.

Жена и дети были для него и вправду милее всего. Оттого и прозвучали его слова так искренно и убедительно. И Ганка совсем успокоилась.

Тихо было в ходском краю...

Зато в тргановском замке царило оживление. Обычно барон фон Альбенрейт был целиком погружён в хозяйственные дела, тщательно проверяя все счета и

ведомости и самолично пересчитывая всё до последнего гроша, до последнего колоска. Часто также он объезжал свои поместья, чтобы присмотреть за управителями и подхлестнуть челядь, которая, на его взгляд, мало трудилась для пана. В этом его не могли разубедить ни горькие жалобы крепостных, ни их слёзные мольбы хоть сколько-нибудь облегчить барщину.

Но теперь он всё чаще покидал свою канцелярию для гостей. По большей части это были дворяне из соседних поместий. Он радушно приглашал их к себе и ездил с ними на охоту в свои необозримые леса. А сейчас в замок прибыло ещё несколько офицеров из Пльзена, в том числе граф фон Штамбах и граф фон Фрейденталь.

Никогда ещё в тргановском замке не собиралось сразу столько гостей. Никогда ещё из ворот его не выезжала такая охотничья кавалькада.

Во главе охотников ехал сам гостеприимный хозяин. Лицо его в последнее время сияло довольством. Это замечали все, кто знал Ламмингера, и прежде всего его домочадцы, даже не догадывавшиеся, какой камень свалился с сердца сурового барона. Заметили это и ходские крестьяне, которые водили своры панских псов или, в кожухах и мохнатых шапках, шагали цепью с дубинами в руках и загоняли зверя чужим охотникам в тех лесах, где их отцы вольно охотились сами. Ходы хорошо понимали, почему так доволен немец. Потому-то он и взвалил на них новое бремя, что уничтожил их грамоты. Раньше его посланцы не осмелились бы явиться в Кленеч или Ходов с приказом итти загонять зверя для немецких панов. А теперь не только пришли, но ещё и пригрозили. Что ж, ходы пошли. А что сейчас сделаешь?.. Но какие лица были у них, и как смотрели они с горы на всадников, не спеша взбиравшихся вверх!..

Ни Кленеч, ни Ходов не знали до сих пор подоб-

ного унижения. Во всём ходском краю с возмущением говорили об этом.

— Ну, вот и дожили...

— Ещё не то будет...

— Сегодня Кленеч, а завтра мы...!

Такие речи слышались всюду. И всюду вспоминали старые вольности, когда из всей своей охотничьей добычи ходы доставляли в Домажлицы только несколько зайцев к рождеству: Ходов — двух, Постшеков, Кленеч, Уезд, Дражинов, Поциновицы, Страж, Кичев — тоже по два, а Лыгста и Медаков — по одному!

Рассуждали об этом и на последних посиделках у Пшибеков. В просторной, хорошо протопленной горнице было на этот раз особенно весело, потому что ушёл куда-то молчаливый и хмурый Матвей. Он ушёл ещё с вечера, то ли избегая оживлённой компании, то ли чувствуя себя чужим среди молодёжи.

Но старый Пшибек остался в горнице и сидел среди парней и занятых пряжей девушек, к которым присоединилась сегодня и молодая жена Искры Жегурека, Дорла. Искра сам уговорил её сходить на посиделки, пообещав скоро зайти за ней. Она охотно согласилась, так как мало бывала на людях и частенько скучала, особенно в бесконечные зимние вечера. Однако посиделки теперь были не то, что раньше. Тяжёлое время давало себя знать даже здесь, где обычно всё забывалось среди песен, шуток и смеха. Даже беззаботная молодёжь не в состоянии была веселиться, как прежде; даже легкомысленные парни и девушки не могли забыть недавних событий, а особенно когда они собирались тут, в доме Матвея Пшибека.

И всё же на несколько минут настоящее было забыто. Это случилось, когда речь зашла о последней баронской охоте. Тут старый Пшибек вспомнил прежние времена и заставил всех унести мыслью в прошлое, в огромные, принадлежавшие им, ходам,

леса, густые, полные всяческого зверья. Ещё на его памяти медведя можно было встретить в чаще чуть не на каждом шагу, а волков было видимо-невидимо.

— Зимой, в метель, под окнами каждую ночь была музыка. Волки выли так, что дрожь пробирала, а наутро во всех волчьих ямах было полно гостей. Волчью шубу можно было купить за гроши. А кто шёл в город или через лес, тот уж заранее готовился к встрече с волком. Я сам немало убил на своём веку. Вот этот чекан мог бы порассказать...

Все взоры обратились в ту сторону, куда указывал старый Пшибек. Один из парней взял чекан в руки. Огромный, тяжёлый, дубовый чекан предназначался, очевидно, для очень большой и могучей руки — руки Пшибеков. На рукоятке под блестящим топориком были насечки из жёлтой меди, а между завитками кованой меди виднелись голубые и красные камешки в серебряных ободках. Парням понравилось это оружие. Они примеривались к нему, пробовали на вес.

— Да, старая, должно быть, штука... — сказал один из них.

— Постарше нас с тобой. Ещё мой дед её нашивал. Кроме неё, у него ничего не осталось после той войны, когда императорское войско дочиста ограбило и спалило весь Уезд. Да, если бы она говорить умела! Сколько волков она уложила! Да и человеческую голову не одну раскроила... Дед сам так огрел этим чеканом одного императорского рейтара, что тот уж больше не встал... За то, что к бабке приставал...

Парни ещё с большим интересом стали рассматривать могучее оружие, да и девушки вытягивали шеи, чтобы поглядеть на него.

— А что было за это твоему деду?..

— Что было? Да что же могло быть? Пустился в лес со всех ног. Они за ним, да куда там! Не на таковского напали. Мешок гороха был для него, что пушинка. Вы, ребята, тоже иной раз воображаете,

что сам чорт вам не брат, а только люди тогда были не вам чета, и кровы у них другая была. Кто из вас мог бы потягаться с моим дедом? Он, бывало, встретит медведя в лесу, и не подумает бежать, а вступит с ним в драку, как с парнем. Один раз набрёл дед на берлогу, а там медвежата. Он забрал медвежат и понёс домой. Дошёл уже до ручья, как вдруг слышит сзади отчаянный рёв. Медведица! Дед припустил во всю мочь. Побежишь, когда этакая зверюга мчится, как вихрь, за тобой по пятам до самой деревни, да и в деревне не хочет отстать. Ну, тут выбежали люди и убили медведицу.

— А что сделал он с медвежатами?

— Ну, они покусали его так, что он был весь в крови. Потом он отнёс их в город, в ходский замок, пану гетману, а тот, говорили, послал их от себя какому-то важному пану в Прагу.

— Вот бы такая медведица зацапала Ломикара на охоте...— мечтательно произнёс один из парней.

— Ну, этот рыжий Иуда успеет подсунуть ей несколько ходов. Мы ведь теперь не люди...

— Тсс... Тише! Слышите? Колокольчик!..—воскликнула Манка.

Все умолкли, прислушиваясь. Ничего не было слышно. Однако Манка уверяла, что она не ошиблась.

— Да кому придёт охота в такую непогоду?!

И всё-таки парни и девушки продолжали прислушиваться. Но они слышали только завывания ветра, хлеставшего снегом по окнам.

XI

В это время Искра Жегурек сидел дома один со слепым отцом. Старик лежал на печи, а Искра нетерпеливо расхаживал по горнице. Он то и дело без всякой надобностиправлял лучину в деревянном светце.

По тому, как он снимал нагар и выдвигал лучину, видно было, что мысли его далеко. Выдвинув лучину, он снова принимался шагать из угла в угол, останавливался у окна и вглядывался во тьму, где свирепствовал ветер, доносивший глубокие вздохи зимнего леса.

Вдруг старик зашевелился на печи.

— Кто-то стучит...

Искра тоже услышал стук в дверь. Он бросился в сени.

— Кто там?

— Я, Немец из Медакова.

В горницу вошёл ещё не старый ход, невысокого роста, с хитрыми живыми глазами. Поздоровавшись, он сразу же весело заговорил:

— Ты один, вольнщик?

— Один, староста. Жена сегодня бродяжит.

— Вместо тебя?

— Пусть тоже попробует. А то она всегда мне концерты устраивает.

— Так она умеет дудеть?— продолжал шутить староста.

— Ещё как! Только меня мать с детства учила: не будь дураком, не пляши под женину дудку.

Гость засмеялся.

— Ну, у тебя своя дудка есть. И скрипка. Сколько музыки! Стоило ещё жениться!

— Да тоже под музыку...

Немец опять рассмеялся и спросил:

— Под чью?

— Под отцовскую.

— Ой, парень!— отозвался с печи слепой отец.— Опять трещишь, как сорока.

— Ну, и пусть, что за беда!— вступился Немец.

— А почему не посмеяться,— сказал Искра.— Смех— не грех. Ломикар сейчас тоже, наверное, смеётся. Купил нас за грош...

— А чего нехватало — украл, — добавил гость.

В это время в дверь опять постучались. Вольтничик вышел в сени и опять негромко спросил, кто там.

— Псутка, — отозвался высокий голос.

А за ним точно медвежий рёв:

— Брыхта.

— А, постшековские! Добро пожаловать, входите! — пригласил вольтничик и, распахнув дверь, ввёл новых гостей в горницу. Первым перешагнул порог Псутка — тот, что был у Пшибеков с Пайдаром и Шерловским, когда на деревню нагрянули немцы. Его спутник, постшековский староста Брыхта, был высокий, жилистый, ширококостный мужчина; густые чёрные брови щетинились на его низком лбу; а под ними сверкали живые, беспокойные глаза. Во всех чертах его смуглого лица отражались упрямство и смелость, и это впечатление отнюдь не смягчалось широким багровым шрамом, пересекавшим весь лоб. Якуба Брыхту хорошо знали не только везде в ходском крае, но и дальше — на чешской стороне и даже за горами, в деревнях соседней Баварии. Баварцы, пожалуй, лучше других были знакомы с его страшным стояком¹, который он выхватывал из-за голенища, как только немецкие разговоры начинали ему не нравиться.

Усевшись на лавке рядом с Немецом, он выругал погоду и стал счищать наконечником чекана снег, примёрзший к его сапогам. А вольтничик уже опять открывал дверь, и в горницу вошли ещё гости: Матвей Пшибек, староста Сыка и Криштоф Грубый. Вошедшие поздоровались, но не успели они начать разговор, как пришлось здороваться с новыми гостями, подъехавшими к дому в санях. Эти были издалека, из Поциновиц: двоюродный брат Пшибека, широкоплечий Пайдар, и молодой Шерловский в коротком кожаном, вышитом цветными узорами.

¹ Прямой длинный нож,

Красивый юноша был единственным молодым человеком среди собравшихся. Все вопросительно поглядывали на него. Как бы отвечая на общий безмолвный вопрос, Пайдар объяснил, что отец Шерловского, поциновицкий староста, болен и не мог сам приехать. Но на молодого Шерловского можно положиться, как на старого.

А стук в дверь не прекращался. Пришёл ходовский староста, Юрий Печ, и староста из Кленеча, Адам Эцль.

Наконец все расселись вокруг стола — кто в белом суконном жупане, а кто так и не снимая кожуха. Чуть поодаль от других сидел Матвей Пшибек, весь превратившийся в зрение и слух.

Старост из ближних мест пригласил сюда Козина. Дальних же обошёл Искра Жегурек.

Ему, разумеется, влетело от жены. Опять шляется чорт знает где! На этот раз ему было бы легко оправдаться, но он молчал и только отшучивался. Сейчас он то снимал нагар с лучины, то вставлял новую, то подходил к окну и прислушивался, а подконец даже вышел на крыльцо и стал вглядываться в ночную тьму.

Из горницы глухо доносились обрывки оживлённого разговора.

Все, и особенно настойчиво постшековский Брыхта, допытывались, зачем их созвали сюда и где же Козина. Они знали, что речь будет о немце, но им интересно было, что и как. Сыка успокоительно отвечал, что Козина вот-вот должен явиться.

— Да где он?

— В городе.

— А что ему делать в городе, когда мы тут?— сердито спросил Брыхта.

— Я и сам толком не знаю. Знаю только, что третьего дня приехал из Вены домажлицкий Юст.

— Матвей, токарь?— осведомился Псутка.

— Он самый. У него была тяжба с магистратом. Он долго судился с ним в Праге, а потом в самой Вене. Ну, и выиграл. Так вот Юст передал вчера Козине, чтобы он приехал к нему в город: есть важная новость. Ну, а Козина решил притащить его сюда, чтобы вы от самого Юста услышали эту новость.

— А ты её, значит, знаешь уже! — продолжал сердиться Брыхта.

Сыка прищурил глаза и ответил смеясь:

— Ты, Брыхта, любопытен, как баба.

— Лишь бы только он не наврал, этот горожанин! — заметил ходовский староста.

— Ничего, мы и сами с усами!

При этих словах в горницу вбежал волынщик.

— Едут!

Все голоса разом смолкли. Во дворе зазвенел колокольчик, закрипели сани, и через мгновение на пороге появились долгожданные гости. Следом за Козиной вошёл человек небольшого роста в широком тёмном плаще. Все взоры обратились на домажлицкого токаря. Уверенно и спокойно, точно у себя дома, он сделал несколько шагов вперёд, поклонился и, скинув плащ, поздоровался с ходами. Некоторых из них он знал, — одних очень мало, других хорошо, — но со всеми держался, как со старыми знакомыми. Худощавое лицо его с выдающимися скулами и живыми чёрными глазками покраснело от мороза. Удостоверившись, что ставни закрыты плотно, он непринуждённо уселся между ходами и, не теряя времени, приступил к делу. Крестьяне слушали его, затаив дыхание: Юст говорил красно и гладко, и не о посторонних вещах, а о их кровном деле.

— Был я в Вене, вернулся только третьего дня, это вы, наверное, слышали, — рассказывал токарь. — Там у меня был суд из-за славного куска земли, которую наш высокочтимый домажлицкий магистрат

непременно хотел оттягать. Но я знал, что моё право верное и существует исстари, и не поддавался. Папы из магистрата всюду выигрывали дело и уже пахали на моём — вы подумайте только! — на моём поле, да посмеивались надо мной. Ясно! Что я могу сделать с ними? Простой ремесленник... Но я сказал себе — нет, не сдамся, ещё есть справедливость на свете! Так и странствовало дело из суда в суд, пока не дошло до самого императора...

— Ну? — не выдержал Брыхта. Он был слишком поражён вмешательством императора. Да и другие слушатели заволновались при последних словах рассказчика. Только Криштоф Грубый сохранил спокойствие, да Матвей Пшибек попрежнему не сводил с горожанина угрюмого испытующего взгляда.

— И вы были при дворе? — спросил Псутка.

— Был.

— У самого императора?

— Да перестань, Псутка, дай ему рассказать, — попробовал вступиться Немец.

— И вы видели императора? — перебил его кленечский Эцль.

— Видел и говорил с ним. Вы только слушайте. Вам, может, многое покажется удивительным, но ведь я не прокуратор, мне незачем вас обманывать, я от вас ничего не хочу, и от этого дела мне никакой пользы не будет, а только беда на мою голову, если вы не будете держать язык за зубами и выдадите меня..:

— Так зачем же вы всё это нам рассказываете? — отозвался вдруг Матвей Пшибек. Слушатели недовольно повернулись в его сторону.

— Зачем рассказываю? — с живостью возразил Юст, не давая себя сбить. — А затем, что я стою за правду и терпеть не могу немцев. Немцы творят беззакония, ездят на слабых, на мне, на вас, да вы и сами хорошо это знаете..:

— Ну, так что же было в Вене?— прервал его Немец.

— Да, так вот... Добрался я до Вены, и там тоже — никакого толка. Ну, думаю, остаётся одно — идти к императору. И пойду! Только к нему не так-то легко попасть. Сколько я бегал, обивал пороги, сколько денег мне это стоило! Теперь-то я поступал уже по-иному, но тогда я ещё не знал верного пути. Но в конце концов я всё-таки добрался до императорского дворца. Я и мой старший сын Якуб. Я его взял с собой — пусть тоже посмотрит, да кое-чему научится. Ну, дворец, я вам скажу, такая красота и роскошь... Всюду мрамор, шелка, золото! Последний слуга — как самый важный пан у нас, весь в бархате, в золотых галунах. Вели нас через столько покоев, что мы и счёт потеряли. Один за другим, как по шнуру отмерены, и один красивей другого, ошалеть можно! Мой Якуб на каждом шагу останавливался и от удивления рот разевал, да я и сам, если бы не помнил всё время, зачем пришёл, тоже глаза таращил бы. Наконец пришли мы в юдин покой, и тут нам сказали, чтобы мы подождали — присядьте, мол, пока. А стулья там обиты самым дорогим бархатом, как у нашего соборного настоятеля на торжественном облачении — знаете, на том, с золотой вышивкой. И сидеть мягко. Только не успели мы оглянуться, как появился этакий вельможный пан, — я уже знал, что это камердинер, — и проводил нас в другую, меньшую комнату. Тут он распахнул занавеску, — очень красивая была занавеска вместо дверей, — и мы очутились в самом красивом из всех покоев, а против нас стоят две персоны. Нам по дороге сказали, что надо сделать, да я и сам знал. Мигнул Якубу, и оба бух на колени...

— А на кого похож император? А кто был другой?— спросили разом Псутка и Немец.

— Тот, другой, был императорский канцлер. Одет пышно, богато, как генерал. А император, — вы бы ни-

когда не подумали,— совсем просто. В большом парике, камзол тёмный, без всякого шитья, чулки и башмаки чёрные,— ну, словно какая-нибудь духовная особа. И добрый! Сейчас же сделал знак, чтобы мы встали. «Чего вы хотите?» спрашивает. Что тут делать? «Ваше императорское величество!» говорю я и пошёл и пошёл. Выложил всё покороче, но ничего не упустил. Он выслушал, раза два кивнул головой, сказал что-то канцлеру по-французски, а потом вдруг снял с плеч плащик, лёгонький такой, шёлковый, бросил его мне на плечо: «Возвращайся с богом домой, тебе будет оказано правосудие!»

— Ну? Ишь ты! — зашумели слушатели, хранившие глубокое молчание, пока Юст рассказывал о своих приключениях.

Юст выждал минутку и, удовлетворённый произведённым впечатлением, продолжал:

— Можете сами догадаться, что я почувствовал! Но я не растерялся. Благодарю, кланяюсь, выхожу, как полагается, пятясь задом, и уже остаётся только перешагнуть порог, как вдруг вижу — канцлер манит меня пальцем. Я останавливаюсь. «Вы из Домажлиц?» спрашивает канцлер. «Так точно, высокороднейший пан канцлер». «Так вы, наверное, знаете ходов?» говорит он. «Как же мне не знать их, ваша милость...»

Тут Юсту опять помешало говорить волнение среди ходов. Недоверчивые восклицания и возгласы удивления, переплетаясь, сливались в сплошной гул. Брыхта вскочил с места, за ним Немец и молодой Шерловский. Козиша, который всё время слушал Юста, опустив глаза, поднял голову и выразительно взглянул на собравшихся. Сыка старался унять шум.

Наконец Юст смог возобновить рассказ.

— «Как же мне не знать их, ваша милость,— говорю,— ведь мы соседи». «Давно о них ничего не слышно,— говорит канцлер.— Прежде они частенько

приходили с жалобами. Должно быть, у них теперь хорошие паны, и они всем довольны».

При этих словах поднялся невообразимый шум и гам, в котором можно было разобрать только, как Брыхта злобно захохотал и стукнул о пол острым наконечником чекана. Но шум разом утих, когда седоволосый Криштоф Грубый, встав с места, подошёл к Юсту и, пытливо глядя на него, спросил:

— Правда всё это?

— Да зачем мне выдумывать?— ответил Юст.— Жаль, что я не взял с собой сына, он бы подтвердил. Что же мне, присягать, что ли? Всё это — святая правда. Понимаете? Всё, что я сказал.

— А больше канцлер ничего не говорил?— допытывался Грубый.

— Больше ничего.

— А почему вы не сказали ему напрямик, как управляется с нами тут Ломикар?— крикнул Брыхта.

— Это не полагается. Такой важной особе можно только отвечать на вопросы. А если бы я и попробовал, ничего бы не вышло: он, как сказал это, так махнул мне рукой и подошёл опять к императору. Но когда я вышел, я сразу же подумал: это надо им рассказать! Мне от этого никакой выгоды, но я знаю, что значит терпеть несправедливости. А вы сейчас терпите. Да ещё как!.. Тяжёлые времена наступили... Я и говорю себе: как же не рассказать им это? Их права ещё имеют полную силу, и если они как следует возьмутся за дело, тому тргановскому немцу придётся несладко. Что же мне жалеть его, этого живодёра? Такой же сахар, как и его отец, а то и похуже. И у нас в Домажлицах все ненавидят его. Ведь Ломикары отняли вас у Домажлиц. Если бы не они, вы попрежнему оставались бы под нашим управлением. А тут ещё он отхватил у нашей общины тргановскую усадьбу. Наша она была. Построил там замок, сидит на нашей земле и смеётся над нами. А вас при-

тесняет. Когда я вернулся из Вены и услышал, что он опять с вами делает, как он силой отобрал ваши грамоты, тут я не выдержал, и, хоть не моё это дело, а не мог не выругаться. Вот разбойник, говорю. Да ещё бесстыжий какой!

— А чего ему! Недаром он выжидал, пока станет гетманом и получит побольше власти,— заметил Грубый.

— А отсюда всякому ясно, что наши привилегии ещё имеют силу! — воскликнул Козина.— Он не стал бы охотиться за грамотами, если бы...

— Правда, правда! — слышалось со всех сторон.

— Но что из того, если этот волк их сжёт! — сказал Пайдар.

— Всё равно — подать просьбу,— решительно заявил Юст.— В Вене знают о ваших правах. Раз сам канцлер заговорил...

— Мы и сами так думали и решили, что дела так не оставим. И мы пригласили вас, чтобы посоветоваться, когда ещё ничего не знали о канцлере,— сказал Козина, и слова его были встречены общим одобрением.

— А теперь уж мы, наверное, можем взяться за хлопоты,— продолжил его мысль Сыка.— Раз уж в Вене помнят о нас и о наших правах...

— Ну, и к тому же кое-что у нас осталось! — подал голос Криштоф Грубый. Он расстегнул камзол и вынул из-за подкладки какой-то свёрток в платке. Ходы с недоумением ждали, что им покажет дражиновский староста. Грубый развернул платок и поднял вверх, к свету, так чтобы все видели, два старых пергаментных свитка с большими печатями на шёлковых шнурах.

Раздался общий крик. Восторгу не было границ. Даже Юст был потрясён.

Только сам Грубый, Козина и Сыка сохраняли спокойствие. Остальные сбились взволнованной кучкой вокруг Грубого. У Матвея Пшибека лицо про-

яснилось. Он тоже поднялся на ноги и, возвышаясь над всеми, смотрел на чудом спасённые доказательства ходских прав. Брыхта недолго разглядывал пожелтевшие грамоты с выцветшими кое-где письменами. Выпрямившись резким движением, словно стальной прут, он повернулся к окну и, грозя крепко сжатым кулаком, торжествующе захохотал:

— Ну, держись, Ломикар! Слишком рано поверстал нас в крепостные! Найдётся у нас и на тебя управа!

— А настоящие они?—спросил Эцль у Сыки, как у «прокуратора» и сведущего человека.

— Можешь спать спокойно. Из нашего ларца. Самые важные. Вот это — грамота короля Юрия, а эта — короля Матиса.

— Как же Ломикар не забрал их?—задал Пайдар вопрос, вертевшийся на языке у всех.

Тут только отозвался молчавший до сих пор Козина. Он рассказал, как всё произошло. Когда он увидел Ломикара с целым полчищем кирасир, ему сразу пришло в голову, что дело не в нём и не в Шибеке, а в грамотах. Он шепнул матери, та побежала домой и взяла из тайника вот эти две самые важные грамоты. Она хорошо знала их ещё с тех времён, когда ларец хранился у её отца в Дражинове. Рассказ Козины всё время прерывался восторженными восклицаниями и по его собственному адресу, и ещё больше по адресу старой Козинихи. А когда он кончил, пылкий Брыхта взревел:

— Чтоб меня громом убило! Вот это баба! Сразу видно, что она твоя мать, Козина!

Но Козина, словно не слыша всех этих искренних излияний, деловито продолжал:

— И теперь, когда мы знаем, что о нас не забыли при дворе, самое время жаловаться.

Уже рассказ Юста достаточно распалил всех, а после того как Грубый вытащил из-за пазухи гра-

моты, можно ли было не согласиться с Козиной? Только Матвей Пшибек молчал.

После Козины снова заговорил Юст. Он убедительно доказывал, что даже без спасённых грамот ходы могли бы начать процесс, раз о них спрашивали при дворе, а теперь они могут быть наверняка. Поэтому не следует мешкать и надо немедленно отправить ходоков в Вену. Впрочем, эта мысль и без него пришла в голову всем собравшимся.

Так и порешили. Только Матвей Пшибек не соглашался.

— Делайте, как хотите,—сказал он.—Но меня не трогайте. Я в Вену не пойду. А вот когда будет плохо, а оно так и будет, и вы захотите идти на немцев, а не к немцам, тогда я пойду, хотя бы один. Его слова не нашли отклика. Только Брыхта крикнул в ответ:

— Ну, тогда и мы будем с тобой!

Когда дело дошло до выбора ходоков, все единогласно остановились на Грубом, Сыке и Козине. Но Юст был иного мнения. Он говорил, что они, наверное, хорошо справятся с делом, но неблагоразумносылать их так далеко, когда они будут гораздо нужнее дома. А к тому же Ламмингер и так уже следит в оба за Козиной и Сыкой, и их путешествие не осталось бы для него тайной. А тайна на первых порах безусловно нужна, чтобы Ламмингеру не удалось испортить дело с самого начала.

Уговорились, что пойдут Псутка из Постшекова, Немец из Медакова и Пайдар из Поциновиц.

— Хорошо, мы пойдём,—сказал Псутка,—но в Вене немцы, а мы по-немецки не умеем, ни я, ни Немец, да и Пайдар тоже. А тут надо ещё при дворе... Куда нам!..

— Вот что, вам это уже не впервые, Юст,—обратился к горожанину Немец.—Так вы бы могли пойти с нами.

Ожидавший такого предложения, Юст недолго отказывался и возражал только для виду. Согласившись на общие просьбы,—попрежнему молчал только Пшибек,—Юст обязался провести ходоков в Вену и добиться для них приёма во дворце.

После этого общим рукопожатием было скреплено торжественное обещание хранить в тайне всё происходившее здесь сегодня.

Немного спустя в доме вольщика снова наступила тишина. Ходские старосты разошлись по своим деревням. Козина с Юстом сели в сани и поехали в город. Следом за ними выехали вторые сани — с Пайдаром и Шерловским.

Некоторое время Козина и Юст слышали за собой скрип полозьев, но вскоре с головой ушли в разговор о походе против тргановского немца и ничего больше не слышали. Да и мудрено было слышать, когда поциновицкие сани неподвижно стояли у околицы. В них уже было не двое седоков, а только один. Старый Пайдар, кутаясь в шубу, сдерживал нетерпеливого сильного мерина, длинная грива которого развевалась на холодном ветру. Пайдар ждал, ждал и уже начинал не на шутку сердиться. «Только на минутку»,— сказал этот сумасшедший парнишка Шерловский. Только скажет два слова Манке. Ну, если застанет его там Матвей, будет ему взбучка. Так-то он соблюдает тайну! Ведь никто не должен знать, что они собирались здесь. Затемно приехали, затемно уезжают. Что, если кто увидит, как парень топчется там у ворот, и узнает его?.. Но чу,— чьи-то быстрые шаги,— это он.

Запыхавшийся Шерловский вскочил в сани.

— Ну, как?—спросил Пайдар.

— Всё благополучно, дядя. Видел её. И не только видел, но и говорил с ней! — голос Шерловского дрожал от переполнявших его чувств.

Пайдар тронул вожжи, хлестнул коня, и тот круп-

ной рысью пустился по занесённой снегом дороге. Шерловский, торопясь, рассказывал, как ему повезло. Ему недолго пришлось бродить под окнами. Манка вышла запереть калитку, тут он её окликнул, они постояли и поговорили. Но о том, что сегодня он впервые поцеловал её, парень не рассказывал. Успокоенный уверениями Шерловского, что он ни единым словом не выдал Манке, где был, а сказал ей, что возвращается из Кленеча, Пайдар больше не спрашивал. Парень был этому рад. Он тотчас же опять забыл о сходбище у вольничика, которое продолжало занимать мысли сидевшего рядом с ним старика, и унёсся мечтами к Манке. Скрипели сани, прорезая морозную тьму. Комья мёрзлого снега разлетались из-под копыт мчащегося вихрем коня. Но молодому ходу было хорошо и тепло, словно он ехал весенней ласкающей ночью.

XII

Минули филипповки и рождество. Морозы, свирепые в декабре, не полегчали и в новом году. Снега выпало много, весь ходский край словно потонул в снегу. Одиноко стоящий среди гор и холмов у подножья Чешского Леса тргановский замок имел сиротливый, заброшенный вид. Тихо и пустынно было вокруг, а ещё тише в его просторных покоях.

Безоблачный день угасал. Лучи предзакатного солнца освещали небольшую, но красиво и уютно обставленную комнату в замке. Правда, деревянный потолок был уже плохо виден, но на стене против окон, на дубовой панели, ещё дрожало золото последних лучей, озаряя клавикорды с изящными резными ножками. За клавикордами сидела младшая дочь Ламмингера, Мария. Свет падал на неё сбоку, окрашивая багрянцем

густые копны волос на склопённой к нотам головке и лёгкие светлые кудряшки на затылке. На тёмнозелёном платье резко выделялся кружевной воротничок и белоснежные манжеты.

Мария долго глядела в раскрытые ноты. Затем, словно очнувшись от дум, опустила белые длинные пальцы на клавиши и заиграла «Чаконну». Нежные мелодичные звуки нарушили царившую в комнате глубокую тишину. Но они быстро оборвались. «Чаконна» показалась Марии скучной. Она перевернула несколько нотных листков и громко, с увлечением, пачала сарабанду. Но и сарабанду она не доиграла до конца. Игра надоела ей, и она с досадой захлопнула нотную тетрадь, которую составил и выпустил недавно в свет «к вяцшему потешению всех любителей музыки» композитор Иоганнес Кунау. Уронив руки на колени, она устремила свой взгляд в окно, — туда, где за вершинами покрытых снегом деревьев пылало зарево заката.

Глубокая тишина вновь овладела комнатой — тишина мёртвого зимнего вечера, которая даже спокойную душу наполняет непонятной щемящей тоской. Отпечаток этой тоски вместе с выражением капризного детского упрямства лежал на лице молодой девушки. Она глядела на деревья, каждая веточка которых была ей знакома, на опостылевшую покрытую лесом гору, всегда одну и ту же, всегда закрывающую горизонт, глядела... и ничего не видела. Мысли её были далеко. Она не заметила, как золотые полосы света сползли с дубовой панели на паркет, а затем исчезли и оттуда. Пелена зимних сумерек застилала постепенно углы и стены и окутывала клавикорды вместе с задумавшейся над клавишами девушкой. Только светлые волосы, кружевной воротничок и тонкие белые руки выделялись из мрака, точно на фоне потемневшего старого портрета.

Вдруг Мария почувствовала чьё-то прикосновение.

Она быстро обернулась и увидела ласковое бледное лицо матери.

— Ты уже кончила играть, дитя моё?

— Ах, да... скучно. Что за удовольствие играть всегда для себя и слушать самоё себя! Точно в тюрьме!

— Господь с тобой!..

— Ах, маменька, вы не знаете, как мне тут тоскливо и грустно. Эта вечная тишина, как в гробу! Ни одного весёлого голоса. Все такие молчаливые, словно неживые. О, да, конечно, если бы отец... Но он всегда такой задумчивый и озабоченный, так часто не в духе. Вы сами всё время на него поглядываете. А в воскресенье, как сегодня, время особенно долго тянется, конца ему нет...— плачущим голосом закончила девушка.

Подавленный вздох матери выдал, что дочь высказала её собственные мысли. Тем не менее баронесса постаралась успокоить девушку.

— Ты слишком непоседлива, дитя моё, и слишком многого требуешь. Время года такое... Сейчас нигде нет веселья.

— Сейчас, на масленице? А в Праге?

— Да, пожалуй, и я бы непрочь...

— Съездить в Прагу? Вот видите, маменька, вам здесь тоже тоскливо.

— О, я привыкла к этому тихому захолустью... Я бы ни на что не жаловалась, если бы не эти тревоги и опасения...

— Какие?

— Да всё те же. Я уже радовалась, что всё кончено, и теперь, когда больше нет этих злосчастных грамот, настанет, наконец, покой. Но эти люди! Они сразу так переменялись. От нас почти всё скрывают, но и без того ясно, что в народе брожение, что всё больше растёт недовольство, и мне часто приходит мысль...

Баронесса вдруг замолчала.

— Какая? Что может быть бунт?

— Было тихо, спокойно, никаких столкновений, и вдруг ни с того, ни с сего они не желают больше по-виноваться. Ясно, появились какие-то смутьяны, которые подстрекают их... Что ж, в этом не было бы ничего мудрёного.

— Зачем же отец держит нас тут?

— Ради бога, дитя моё, не вздумай только занкнуться ему об этом. Он ужасно рассердится. Я, вероятно, слишком труслива и осторожна... Скорее всего никакой опасности нет. Иначе бы он отослал нас отсюда,— уговаривала дочь кроткая баронесса, опасавшаяся гнева супруга.

Не успела баронесса кончить, как распахнулись двери и в комнату вошёл старый камердинер Пётр с двумя зажжёнными свечами в серебряном канделябре. Седой, бритый слуга был в тёмном кафтане, коротких чёрных штанах и чёрных чулках. Он с поклоном пожелал господам доброго вечера и поставил канделябр на клавикорды. Искренний тон старика и вся его манера держаться показывали, что он был больше чем простым слугой. Особое благоволение господ он приобрёл ещё многолетней преданной службой отцу баронессы, старому князю Лобковицу, после смерти которого перешёл к его дочери, вернее к её мужу, став его камердинером. Но все помыслы старого Петра попрежнему принадлежали его первому господину, которого он никак не мог забыть.

— Что нового, Пётр, милый?— обратилась к нему молодая девушка.

Пётр, собиравшийся уже покинуть комнату. При этом вопросе он остановился, затем сделал ещё два-три шага к дверям, снова остановился и, помотав головой, сказал:

— Ах, барышня, если бы я мог ответить так, как отвечал, бывало, его милости, блаженной памяти ва-

шему дедушке. «Как дела, Пётр?» изволили они всегда спрашивать. «Хорошо, ваша милость». — «А что нового?» — «Ничего, ваша милость, всё по-старому. Везде спокойно».

— А что, случилось что-нибудь новое? — спросила баронесса, заметив озабоченное лицо старого слуги.

— И старого больше чем достаточно, ваша милость. У нас, то есть во владениях вашего покойного батюшки, отроду такого не бывало. Люди трудились в поте лица своего, отбывали барщину и почтительно кланялись каждому, кто был из замка или из папской канцелярии. А тут! Конечно, в барщине мало приятного... Но судиться со своим господином, жаловаться в Вену самому императору — это уж слишком!

— Человек из Кута ещё в канцелярии?

— Ещё там, ваша милость. Но коня ему уже оседлали. Сию минуту поедет.

— А с чем он приехал?

— Так, мелочи всё, да только очень уж много этих мелочей. Что там могло быть? Неповиновение, как и здесь, у нас. Если постшековские не вышли загонять зверя, а ходовские отказались дать подводы...

— Ну, это всё старые истории! — прервала Мария словоохотливого камердинера. — А что нового привёз посланный из Кута?

— В точности я не знаю. Подробно он рассказал, вероятно, только его милости. Известно только, что эти упрямы ходы, да хранит нас бог, творят там в Поциновицах и Льготе такие же дела, как в Страже и Глумачеве.

— В Страже и Глумачеве? — удивлённо воскликнула баронесса. — А что там было?

— Ваша милость не изволите знать? Там, говорят, крестьяне охотятся в лесах, как в своих собственных, стреляют, ставят тенёта...

— А что же лесничие?

— То-то и есть, ваша милость... В Тлумачеве избивали лесничего, когда он пырнул ножом чью-то собаку.

— А в Поциповицах?

— Оттуда посланный привёз такие же известия, только там было как будто ещё хуже. Самого старосты, старого Шерловского сын...

Камердинер вдруг умолк, точно прикусил язык, и бросил испуганный взгляд на боковую дверь, где стоял на пороге его господин и повелитель, барон фон Альбенрейт.

— Опять ты, старый болтун, мелешь вздор?— строго прикрикнул он на старика.— Сам трус, баба, да ещё и других пугаешь. Тебе надо замок на губы повесить.

— А вы напрасно его слушаете!— добавил он более сдержанным, но не менее строгим тоном, обращаясь к жене.

Марии было жаль старого слугу, но она не могла удержаться от улыбки при виде того, как старик втянул голову в плечи и, кланяясь, засеменил к дверям.

В коридоре Пётр собрался с духом, остановился и пробормотал:

— Это со мной, как с мужиком каким-нибудь!..— и уже мысленно продолжал: «Нет, его милость, покойный князь, так не поступал. Я трус? Я баба? Тридцать лет прослужил я его милости, старому князю, тридцать лет, и никогда, ни единого раза, не слышал такого! Бедная пани! Теперь и ей достанется за то, что слушала меня. А сколько разговаривал со мной его милость, покойный князь, а он был не чета этому...»

— Что вам тут наплёл этот трусливый заяц?— спросил барон, когда Пётр вышел из комнаты.

— Думаю, что он говорил правду,— тихо ответила баронесса.— О беспорядках в Страже и Тлума-

чеве... В известиях из Кута тоже, вероятно, ничего нет весёлого...—осторожно отважилась она на вопрос.

— Но и ничего грустного. Драки с лесничими, браконьерство. Это теперь обычные явления. Но этого для меня мало.

Странная усмешка искривила губы барона.

— Мало?—удивились одновременно и мать и дочь.

— Достаточно, чтобы меня разозлить, но мало, чтобы вызвать солдат.

— Солдат! Ради бога! Неужели вы хотите, чтобы лилась кровь? В Уезде ведь были солдаты, а какой толк?

— Гм... Там ещё было тихо, не было бунта. А мне бы нужен был...

— Бунт?

— Это было бы лучше всего... Но пусть это вас не заботит. Предоставьте это мне.

— Но ведь здесь мы!—воспользовалась удобным случаем Мария.

— Ай, Мария, можно подумать, что ты родная дочь Петра! Такая же героиня.

— Я не боюсь, но тут так тоскливо,—поспешила оправдаться девушка.

— И небезопасно,—поддержала её баронесса.

— У страха глаза велики. Мужичья дерзость— вот всё, на что они способны. Дурачье! Нашли себе в Вене адвоката и думают, что уже выиграли процесс.

— А если будет бунт?

— Тогда мы повесим несколько человек, и наступит полное спокойствие,—холодно произнёс Ламмингер.

Разговор оборвался. Баронесса, подавив вздох, взглянула на дочь. Мария сидела, низко опустив голову. К счастью, раздался удар колокола, возвещающий, что ужин подан.

— Пойдёмте! — спокойно сказал барон. |

Баронесса молча шла рядом с супругом. Его последние слова не выходили у неё из головы. Мария следовала за родителями и злилась. Прямо хоть плачь! Она готова была топтать ножками. Отца не уломаешь! На Прагу никакой надежды. Вместо Праги её ждёт бесконечный ряд долгих, томительных вечеров, которые она будет проводить, как всегда, как сегодня, в не слишком весёлом обществе молчаливого, сурового отца.

Против ожидания, Мария была на сегодняшний вечер избавлена от этого общества. За ужином Ламмингер был занят своими мыслями и не произнёс почти ни единого слова, а после ужина он сразу поднялся и ушёл в канцелярию. Пусть жена и дочь его не ожидают, сказал барон, у него много спешной работы, и он поздно засидится в канцелярии.

В канцелярии уже сидел один из чиновников барона и усердно водил пером по бумаге.

Ламмингер заглянул через его плечо, затем поднял голову и сказал:

— Пока хорошо. Ничего не забудь: браконьерство, отказы от барщины, неповиновение, дерзкие речи. И ничего не смягчай. Наоборот, не жалей красок: на бумаге всё выглядит бледнее, чем на самом деле. Для человека, который не видел того, что было, собственными глазами, надо изобразить всё поживее. Ну, да тебя нечего учить. Не забудь и про Юста — что это за сутяга и подстрекатель. Подрывает все устои. Вообще опасный человек. А самый опасный из них — Козина. Произносит мятежные речи и возбуждает всех к сопротивлению.

— Это уже есть, ваша милость.

— И о межевом дереве тоже.

— Также есть, ваша милость.

— А сегодняшние новости из Кута?

— Этого ещё нет.

— Так добавь. И о льготских и тлумачёвских упрямцах тоже. Как только будет готово, принесёшь в кабинет, прочтёшь мне. Должно быть готово ещё сегодня. Рано утром Шнейдер отправится с этим в Прагу. Ты послал за управителем?

— Послал, ваша милость.

— Хорошо.

Оставив чиновника сочинять дальше обвинительный акт против ходов, Ламмингер направился к себе. Войдя в кабинет, он закрыл за собой дверь, прошёлся несколько раз по комнате, потом, остановившись, прислушался. В замке было тихо, только за окнами шумел в ночной тьме холодный ветер. Ламмингер запер двери на ключ, подошёл к одной из стен комнаты, отыскал в ней еле заметное отверстие и вставил в него маленький ключик. Словно вытолкнутая пружиной, отскочила дверца, открывая тайник в стене с несколькими полочками. Барон взял с одной из полочек два туго набитых тяжёлых мешочка. Потом захлопнул дверцу, уселся за стол и начал писать.

В дверь осторожно постучали. !

— погоди! Сейчас! — крикнул Ламмингер. Кончив писать, он отпер двери и впустил управителя — того самого, который дрался с Козиной на меже.

— Поедешь в Вену, — коротко объявил барон.

— Когда, ваша милость?

— Не теряя времени. Утром чуть свет. Приготовься! Вот тебе деньги на дорогу. Коня не щади. В Вене ты не заблудишься...

— Я прожил там пять лет, — ответил управитель с самоуверенной улыбкой.

— Это письмо доставишь придворному прокуратору, а эти — остальным вельможам, тут везде написано кому. Сразу же, как только приедешь. Это всё по поводу ходов. Если тебя будут спрашивать, расскажи, что у нас тут творится. А с этой вот за-

пиской отправишься к ходскому прокуратору Штраусу. В записке нет ничего, кроме подтверждения, что ты являешься к нему от моего имени. Ты не отдашь её, а только покажешь.

— Понимаю, ваша милость...

— Об остальном надо договориться на словах и...— тут Ламмингер усмехнулся и приподнял один из мешочков с дукатами,— этим тыкрепишь уговор. Расписку привезёшь мне.

— А если он не возьмёт?— спросил управитель.

— Я считал тебя умнее.

— Или захочет больше?

— Это другое дело. Одолжишь тогда в Вене. Я обо всём подумал. Ну, понял?

— Сделаю, ваша милость. Разузнаю всё.

— Чем пахнет в суде и при дворе, об этом я буду знать без тебя. А ты выведай у Штрауса все имена. Кто направил к нему мужиков, кто даёт деньги, кто всем верховодит. Только смотри, будь осторожен с ним! Это продувная бестия. Он уже добился кое-чего: назначена комиссия для рассмотрения жалобы. Надо узнать, кто в комиссии. И поскорее. Если постарайся хорошенько, не останешься без награды. Ну, иди, собирайся. Никому ни слова о том, что едешь. Выедешь пораньше, до рассвета, чтобы никто не видел. Так заруби себе на носу: Штрауса надо купить непременно. Подожди, присядь-ка, да запомни главное: эти вот деньги — тебе на дорогу, а эти — на всё остальное...

Немного спустя управитель возвратился к себе. Он был не женат, жил один, и некому было подглядывать за его сборами. Рано утром он сам вывел из конюшни лошадь, вскочил в седло и дал шпоры. Его хозяин, в мохнатой шапке и коротком полушубке, вышел за ворота замка и с минуту смотрел вслед мчавшемуся по снежной дороге управителю. Конь и

всадник быстро слились в предрассветной мгле с серым небом, на котором ещё мерцали кое-где гаснущие звёзды.

XIII

Ходские деревни, которые Ламмингер, сжигая старые грамоты, думал обречь на вечное молчание, недолго хранили покой. Тихая гладь, под которой дремала буря, подёрнулась рябью и вздыбилась волнами.

На тайном сходбище у вольнщика были представители почти всех деревень; но и те, кому не удалось попасть в ту ночь к Жегуреку, одобрили принятые решения. Вскоре ходоки, под попечительством Юста, отправились в Вену. Юст всю дорогу распространялся о своей ловкости и о том, как трудно добиться доступа ко двору. Но он с помощью денег и своих знакомств всё устроит. Ходы скоро убедились, что в одном отношении он, во всяком случае, не врал: в Вене действительно надо было иметь много денег. И Юст то и дело обращался к Псутке, игравшему роль казначея и распоряжавшемуся деньгами, собранными для оплаты Юста и на прочие расходы.

Горжественное обязательство хранить полное молчание строго соблюдалось. Ходоки давно уже были в пути, а в замке ещё ни о чём не догадывались. Да и никто в ходском крае ничего не знал, пока весть о ходоках не пришла в замок... из Вены!

Придворный советник фон Саксенгрюн, неизменный доброжелатель барона фон Альбенрейта, не замедлил сообщить ему об этой новой дерзости ходов.

После этого о депутации заговорили во всех ходских дворах. Ходы несколько не удивлялись решимости своих старост. Им уже было известно, что при дворе спрашивали о них. Сперва рассказывали, как тот важный пан, что выше всех после императора,

справлялся о ходах, а ещё охотнее передавали, будто сам император сказал, что у ходов, должно быть, хороший пан, раз они не дают о себе знать. Затем пронеслась весть о том, что не все старые грамоты погибли в огне. Некоторые как будто остались в Уезде. Но об этом говорили только люди постарше и, говоря, оглядывались — не подслушивает ли кто. Где могут храниться спасённые грамоты — об этом речи не заводили. Все боялись за них. В разговорах часто произносилось имя Козины, то громко, то шопотом, но всегда с большим уважением.

Люди всюду подняли головы. Даже те, кого сначала пришибла весть о сожжении грамот, разговаривали теперь по-иному. Вспомнили и о большой комете, озарявшей недавно ночное небо.

— Разве она всегда предвещает только дурное? — говорили при этом. — Разве она не может быть добрым знамением?

Старый Пшибек при этих разговорах с сомнением качал головой и отвечал:

— Комета всегда что-нибудь предвещает. Это правда. Я не одну комету видал на своём веку, и всегда за ней шла война, либо голод и мор.

Но ходы были полны упований и весело встретили новый год, тем более что как раз к этому времени пришло первое известие из Вены. Письмо писал Юст. Оно было адресовано его соседу в Домажлицах, а тот уже передал письмо Козине. Юст сообщал, что все они благополучно добрались до Вены, и он тотчас же начал хлопотать об аудиенции при дворе. К сожалению, как раз сейчас император в отъезде, но Юсту всё же обещали устроить для ходов аудиенцию, когда он вернётся. А кроме того, Юст нашёл отличного прокуратора, родом из Чехии, и тот, ознакомившись с делом, сказал слово в слово то же, что он, Юст, говорил у Жегурека: ходы своё дело безусловно выиграют, но процесс продлится немало времени, так как

приходится ворошить далёкое прошлое, и у Ламмингера есть тут много друзей.

Все ходы смотрели на тяжбу, как на своё кровное дело. Ни один голос не поднялся против. Известий о первых шагах ходоков все ожидали с нетерпением. И сообщённые Юстом новости мигом разнеслись по ходскому краю. Всюду они были встречены с восторгом, и всюду расцвели радужные надежды.

Вскоре такое же письмо, только менее многословное и хвастливое, прислал сам прокуратор Штраус. Сдержанность Штрауса особенно понравилась Сыке и Криштофу Грубому, на имя которого пришло это послание. А спустя короткое время Штраус прислал второе письмо, в котором сообщал о предпринятых им шагах и снова повторял, что ходские права нисколько не утратили силы, хотя Ламмингер и сжёг старые грамоты. Этим он только повредил самому себе, так как злоупотребил своей властью гетмана, и Штраус не преминет воспользоваться этой ошибкой барона.

Полученные вести на крыльях ветра распространились по всем ходским деревням. Их передавали устно и письменно, и всюду только о них и толковали. А когда из Вены одно за другим пришло сразу несколько писем, даже старый Пшибек позабыл о комете и готов был оставить свои сомнения. Одно из этих писем было от Юста, который сообщал, что аудиенция у императора уже назначена. Другое, полное надежд, было от прокуратора. А третье было написано неуклюжей рукой постшековского Псутки, который, по поручению всех ходоков, рассказывал, как они были в императорском дворце, как предстали пред самим императором, как он милостиво выслушал их и обещал, что им будет оказано правосудие. Псутка расписывал при этом роскошь императорского дворца и много говорил о самом императоре; слова его совпадали с тем, что рассказывал Юст у

волейщика, и это ещё более укрепило надежду ходов на Вену.

Все, захлёбываясь, передавали друг другу эти рассказы. Только жена того, кто первым начал эту борьбу, жена Козины, Ганка, избегала всех разговоров. Она боялась. Как было хорошо в тот вечер, когда её муж вернулся из тргановского замка, а кирасиры покинули Уезд! Как она радовалась тому, что теперь наступит мир и покой, и Ян будет всецело принадлежать ей и детям! А теперь... Теперь она понимала, почему в последнее время Ян так часто уходил из дому под вечер, и почему он так часто встречался с Сыкой; она понимала о чём он подолгу беседовал со старухой-матерью, и почему они всегда умолкали или меняли разговор, когда появлялась она, Ганка. Её, как огнём обожгло, когда она услышала о венском процессе, но ещё большим ударом для неё был поступок свекрови, которая припрятала-таки один или два старых пергамента! Жестокая женщина, жестокая мать! Не успокоится, пока не погубит собственного сына! Как она может? Что может быть для матери милее и дороже родного сына? И зачем она впутывается в дела, которые пристали только мужчинам? Да ещё впутывает сына? Мало ей того, что она видела на съезжей, когда его так избивали, а потом ещё истязали в замке? Всякая другая на её месте заклинала бы сына бросить эти дела, не губить себя и свою семью! А она!..

Так думала Ганка в тот день, когда до неё дошли беспокойные новости, так думала она и потом. И только из любви к мужу она не давала воли своим чувствам. Она даже сделала усилие над собой и однажды, в воскресенье, зашла после обеда во вдовый домик, зная, что застанет старуху одну. Но с какой горечью она возвращалась оттуда! Не ожидала она такой награды за все свои добрые намерения! Как сурово увидась на неё старуха, когда она тихим голосом на-

начала говорить о Яне и о той опасности, которой он снова подвергает себя и семью! И договорить ей не дала свекровь, когда она хотела попросить, чтобы та как мать подействовала на Яна. Ведь мать он скорее послушает, чем жену...

— Да ты очумела, что ли?— набросилась на неё старуха.— По живым панихиду служишь? Хочешь мужа к юбке пришить? Он и так с тобой слишком носится. Но он мужчина, а не старая баба. И на свете, кроме жены, есть ещё много кое-чего. Что ты мне всё твердишь, что я мать? Да, мать, а не волчица, и не тебе меня учить! А если я забочусь об этом деле, так потому, что это нужно для твоих же детей. Чтобы им жилось лучше, чем нам, старикам. Чтобы им не приходилось плясать под немецкую дудку...

Ганка не помнила, как она домой добрела... Едва перешагнув порог, она опустилась на лавку и разрыдалась. Ей было обидно, что свекровь так отчитала её, а ещё больше она боялась за мужа. Когда Ян вернулся домой, он сразу же заметил её заплаканные глаза и спросил, что с ней. Она хотела промолчать, но не выдержала, заплакала снова и стала умолять его помнить о себе и о детях. О разговоре со старухой она ничего не сказала. Ян старался успокоить её, но несколько раз повторил, что сделанного не воротишь, и он рад этому.

— Хочешь не хочешь, а назад не пойдёшь. Да так оно и лучше. А у меня словно гора с плеч. Ничто меня не грызёт, и не боюсь больше смотреть людям в глаза. А прежде — сама знаешь. Перестань же терзать себя. Хуже, чем было, не будет.

— Это вас тот проклятый горожанин попутал!

— Не бранись, Ганка! Не будь Юста, я бы сам начал суд с немцами. Ещё есть у нас грамоты...

Ганка ничего не ответила, только глубоко вздохнула. Она вовсе не рада была спасению грамот и

повторяла мысленно то, что сказала старухе на прощанье:

— Лучше побережись, чем жалеть потом! Как бы и вы не пожалели, да только поздно будет!

А Козина действительно стал гораздо спокойнее. Больше не было мучительного внутреннего разлада. Решение принято. Бой начался. А за прежние косые взгляды его вознаграждало теперь всеобщее доверие. Вновь обрёл он своё мужественное сердце. Он готов был идти на всё, лишь бы довести борьбу до конца. Начало было тяжёлое, но теперь дело принимало благоприятный оборот. Одно только сильно тревожило его — вести из деревень: о том, что постшековские не вышли загонять зверя, несмотря на приказания немца, а за ними и ходовские отказались дать подводы для замка; о том, что и в других деревнях начались такие же дела; а в Страже и Тлумачеве не заплатили к рождеству оброк и не выслали на баронские гумна людей для молотбы. Козина считал, что пока дело не решено, такие действия большая ошибка, которая даёт оружие в руки немца.

«Прокуратор» Сыка полностью соглашался с ним.

— Жалуемся на немца, а как бы нам самим не пришлось отвечать, — говорил он Козине в тот самый вечер, когда Ганка сидела у свекрови. Оба сошлись на том, что надо внушить людям благоразумие и сказать старостам, чтобы они не допускали таких поступков.

В это время в горницу старосты, где происходил разговор, вошёл Матвей Пшибек. Лицо его было менее сурово и хмуро, чем обычно, и глаза его заблестели, когда он ещё на пороге начал:

— Не умер ещё ходский дух!

Козина и Сыка только переглянулись. А Пшибек стал рассказывать новость, принесённую им из города: в Поциновицах молодой Шерловский сцепился

с лесничим и отдубасил его так, что тот чуть богу душу не отдал.

— За что?— спросил Сыка.

— Этот немецкий холоп хотел отнять у него ружьё.

Сыка молча почесал затылок. Козина же решительно осудил Шерловского.

Лицо Пшибека омрачилось. Он взглянул исподлобья на своих собеседников и, немного помедлив, сказал:

— А по-вашему, он должен был отдать ружьё и подставить спину под палки и только потом идти к прокуратору?

— Не надо было ходить в лес.

Матвей с сердцем ударил кулаком по столу.

— И это говоришь ты, Козина?

— Да, я. Нечего нам сейчас ходить в лес. Это значит лить воду на панскую мельницу. Процесс ещё не выигран... Вот когда выиграем... А пока...

— Пока солнце взойдёт, роса очи выест. Ой, Козина, не жди помощи от Вены, ничего там не сделают, только за нос водить будут. Вот наша помощь,— и Матвей Пшибек потряс в воздухе своим огромным чеканом.— Вот что страшно для немцев, а не прокураторские бумажонки.

— Ну, это от нас не уйдёт,— ответил Козина,— а сейчас такими поступками мы можем испортить всё дело.

Сыка одобрительно кивал головой, подтверждая слова Козины, и собирался тоже сказать что-то, но в это время перед домом закрипели полозья саней, и через минуту в комнату вошёл дражиновский староста, Криштоф Грубый.

— Эй, вы, тут!— весело начал он.— Ты чего, Матвей, хмуришься, а ты, Ян, красен, как пасхальное ягнцо?

Сыка коротко рассказал, о чём спор. Грубый положил руку Пшибеку на плечо и успокаивающе сказал:

— В тебе говорит старая ходская кровь. Но сейчас другое время. Чеканом не всё можно сделать. Да, может, он и вовсе не понадобится.

И Грубый вытащил из-под плаща письмо. Как только он получил его, он сейчас же велел запрягать, чтобы поделиться новостями с друзьями в Уезде. Письмо было от Псутки с припиской Юста. Сыка даже прищёлкнул пальцами, когда прочёл первые строки. При дворе приняли жалобу ходов и назначили комиссию для рассмотрения их тяжбы с бароном фон Альбенрейтом. Козина, тоже склонившийся над письмом, снова покраснел — на этот раз от радости. Старик Грубый хотя и знал уже, о чём говорится в письме, затаив дыхание, слушал бормотание Сыки, повторявшего вполголоса прочитанные слова. На лице его играла улыбка. Только на Пшибека письмо не произвело ожидаемого впечатления.

— Это ещё не конец. До решения ещё далеко, — сказал он. — И что такое эта комиссия?

— Что такое эта комиссия? — вскочил Козина и начал с увлечением объяснять Пшибеку: — А вот что. Помнишь *perpetuum silentium*, когда нашим дедам объявили, что ходские права — прошлогодний снег, что их не существует, и что мы не смеем даже вникать в них? Помнишь, как старики хватались за голову, как проклинали эти два латинских словечка? А не помнишь, так вспомни, как усмеялся Ломикар, когда наши грамоты горели в огне! Он думал, что теперь конец. Да не тут-то было!

— И, бог даст, не будет! — торжественно добавил дражиновский староста.

Пшибек молча слушал, сжав губы и угрюмо уставившись на чекан, на который опирались его могучие руки.

Криштоф Грубый, Козина и Сыка горячо радовались первому серьёзному успеху, достигнутому в борьбе против Ламмингера. Эту радость разделял с ними весь ходский край, так как новая весть быстро распространилась повсюду. Уже первые письма из Вены возбудили у ходов надежды, перешедшие вскоре в уверенность. И вот действительно назначена комиссия! При дворе признали, что право на стороне ходов, что их несправедливо обидели, и комиссия скажет это во всеуслышание, не может не сказать, ибо беззакония Ламмингеров, и покойника, и нынешнего, вопиют к небу. Кто посмеет назвать чёрное белым?

Ходы радовались ожидаемому избавлению от ненавистных немцев и не подозревали, что ещё за несколько дней до того, как пришло письмо Псутки, в тргановском замке уже знали о назначении комиссии. И пока ходы предавались ликованиям, барон фон Альбенрейт не дремал.

А на его стороне были все преимущества: большой опыт по части крючкотворства, связи при дворе и среди высших чиновников, прекрасно налаженные сношения с Веней.

Такой быстрый успех, как назначение комиссии, был неожиданностью даже для Сыки. В глубине души он сильно побаивался влиятельного барона и до последней минуты опасался, что в Вене ходы услышат прежний окрик. Но нет, их не прогнали, не ткнули им в лицо злосчастный указ о вечном молчании, а даже назначили комиссию. И Сыка тоже повеселел.

Ещё одно обстоятельство подбодряло всех. Повсюду в ходском краю барщины словно и не бывало. Мало кто слушался панских драбантов. Если раньше люди только ночью, тайком ходили в леса, то теперь все охотились совершенно открыто. Немцы грозили, требовали штрафы, лесничие орали, но что

это по сравнению с прежним? Ещё недавно за куда меньшие провинности немцы расправлялись так, что надолго оставляли память... А теперь не решаются, значит — чуют...

Так рассуждало большинство старост, и они немало удивлялись, когда Козина передавал им через волюнщика Искру или при случае говорил сам, что надо вести себя смирно. Клепечский староста Эцль, по прозвищу Весельчак, поднял его насмех, а когда он попробовал подействовать на постшековского Брыхту, тот просто вышел из себя.

— Это тебе ваш «прокуратор» натрубил! — возмутился Брыхта.

Он имел в виду осторожного Сыку, который опасно покачивал головой, когда Козина рассказывал ему, какие в краю дела делаются. И ко всем прочим доводам Сыка добавлял, что в последнее время немцы ведут какую-то новую игру: налагают такие повинности и требуют таких работ, о каких ходы никогда не слышали.

— Дело ясное. Немец хочет взять не мытьём так катаньем. Сам раззадоривает нас, чтобы мы лезли в драку. Вот потому-то и надо держать себя тише воды, ниже травы, чтобы нельзя было на нас пожаловаться.

Так рассуждал Сыка, и так говорил он однажды, идя вместе с Козиной по деревенской улице. Вдруг оба остановились и стали прислушиваться. По всей деревне разносился откуда-то шум и крик. Лишь пройдя дальше, они разобрали, что шум доносится из усадьбы Пшибеков. А там у ворот уже собралась целая толпа; и стар, и млад с интересом ждали, что будет дальше. Не успели Сыка с Козиной дойти до ворот, как с треском растворилась калитка, и из неё поспешно выскочил тргановский драбант. За ним с яростным лаем стрелою вылетел лохматый седой пёс, а затем появился сам Матвей Пшибек, без жу-

пана, в одном камзоле, и погрозил вслед драбанту своим тяжёлым чеканом.

Толпе доставил большое удовольствие вид панского драбанта. Прежде он являлся в дома падутый, как индюк, важный, как сам тргановский немец, и величественно объявлял приказы замковой канцелярии. Ну, в последнее время спесь с него заметно спала. А теперь так и вовсе бежит, как пойманный вор! Просто смех берёт, как посмотришь: бежит и отмахивается, а пёс за ним!

Не смеялся один только Пшибек. Весь кипя от неостывшего ещё возмущения, он глядел вслед немецкому наймиту, не замечая ни развеселившейся толпы, ни подбежавшей к нему дочери. Он обернулся только, когда подошли Козина и Сыка и спросили его, что тут было.

— Да ну его!.. Явился с приказами, словно вельможа! Требовал какой-то оброк, которого в жизни я не платил. По реестрам, мол, следует. И отец отродясь не платил, и дед тоже. Просто выдумали. Видно, нехватает немцу на заговенье! А если не заплачу, будет-де плохо... Испугали! Но это не всё. Немец, видишь, приказывает, чтобы Манка, моя дочь, пришла на панский двор лён прясть. Ах, ты!.. Да я тебе такого напяду!.. Ну, да он и досказать не успел. Видели? Только пятки засверкали!..

— Они и вправду этот оброк просто выдумали!— воскликнул Козина.

— Так-то так, да только теперь они переведут речь на другое: скажут — драбанта выгнал и собаку на него натравил,— заметил Сыка.

— А что же я должен был делать? Ну, да, да, понимаю. Молчать, а потом пойти к прокуратору?— вспыллил Пшибек, переводя взгляд с Козины на Сыку.— Мы с Барсом лучше управились — насмешливо добавил он.

Все вокруг засмеялись.

Только Козина и Сыка оставались серьёзными. «Да, пожалуй, Сыка прав,—подумал Козина,—немец нарочно всячески раздражает ходов, чтобы дело дошло до драки».

Всё это происходило в конце масленой, почти перед самым заговеньем. Искра Жегурек редко сидел теперь дома. Он был нарасхват — приглашения сыпались со всех сторон. Приходилось брать с собой даже старика-отца, но и вдвоём они еле справлялись. Давно уже не было такой весёлой масленицы. Молодёжь плясала во-всю, да и люди постарше, давно забывшие, что такое танец, теперь нередко пускались в круговую. Всем было как-то легче, свободнее на душе.

А у Искры был ещё особый повод для радости. Прежде, когда Искра брал в руки волынку, он забывал обо всём на свете и не видел ничего, кроме кружащихся под музыку парней и девушек. Вспоминал он только,—и, надо признаться, довольно часто,—о стоящей сбоку кружке пива. А теперь он слушал, как парни, притоптывая каблуками, поют кто в лес, кто по дрова, и смотрел, как они, лихо подхватывая девушек, кружат их в воздухе, и уносился мыслью далеко от развеселившихся танцоров — в свой дом на краю деревни. Жена призналась ему, что скоро их будет не двое, а трое... И Искра был очень доволен, что наступает пост и его ночным скитаниям на время будет конец. Он так и оправдывался перед Дорлой, когда в последний день масленицы векинул на плечо волынку и собрался уходить из деревни.

— И что это Брыхте вздумалось? — сказала Дорла.

— Надо же доставить удовольствие Ломикару, — смеясь, ответил волынщик.

— А что мне говорить в Уезде?

— Я сам приду попозже. А пока отец с Кубой справятся как-нибудь без меня.

Искра отправился в Постшеков, а Куба Копопиков действительно вскоре зашёл за слепым стариком.

В это самое время Козина провожал Криштофа Грубого, заходившего в Уезд по дороге из города.

— Странно, что ни Юст, ни Штраус давно ничего не пишут, — говорил Козина. — Я думал, что от них прискачет посланец, а тут даже письма нет.

— Дорога скверная. Везде заносы. Нет, я ничего худого не предполагаю. Подумай только — комиссия! Сразу она тебе не соберётся. Паны не торопятся.

— Я тоже так думал. А потом мне пришло в голову: не приказал ли Ломикар перехватить посланного...

— Ну, этого я не думаю.

— А вот послушай! Третьего дня, ночью, двое молодчиков из немецкой челяди остановили Искру, когда он возвращался из города, и обшарили все карманы. У Искры был целый талер, но на деньги они не позарились. Искали, видно, другое. И поджидали они именно Искру.

Старик задумчиво покачал головой и сказал:

— Да, пожалуй, ты прав. Ломикар ещё покажет себя. Раз он мог украсть грамоты, почему бы ему не грабить на большой дороге? Надо поостеречься.

Проводив Грубого, Козина остановился у корчмы, где заливалась скрипка старого Жегурека и гудела волынка Кубы. Но Искры, к удивлению Козины, в корчме не оказалось. Когда танец кончился, Козина подошёл к музыкантам и спросил о приятеле. Расшумевшаяся молодёжь не обратила на него внимания, но когда он, обменявшись несколькими словами со старым волынщиком, вдруг круто повернулся и поспешил к выходу, даже не притронувшись к налитой ему кружке пива, все стали спрашивать, что случилось. Некоторые из молодых людей бросились к окнам и сообщили любопытным, что Козина направился не к дому, а вон из деревни.

Слепой Жегурек на все расспросы мог лишь ответить, что Козина справлялся о его сыне, и когда он сказал, что Искра ушёл в Постшеков, куда его усиленно звал Брыхта, так как там, видимо, что-то затевается, Козина изменился в лице и бросился из корчмы, как ужаленный.

Козина в это время был уже за деревней, и поспешно шагал по наезженной' дороге. Мёрзлый снег сверкал огнями на солнце. Тёмный лес точно очутился ют печальных дум, и вершины деревьев веселее шумели в прозрачном воздухе. Но Козина ничего не замечал. Он смотрел то в сторону Трганова, то в сторону Постшекова. Сделав небольшой крюк, он обошёл тргановский замок, белые стены которого холодно сияли отражённым светом. Замок был погружён в глубокий покой, словно сегодня не был последний день масленицы, последний весёлый день перед постом.

Козина подходил уже к Кленечу, когда навстречу ему донеслись пронзительные крики, восторженные возгласы и громкая музыка. Он ещё издали увидел огромнейшую толпу, особенно густую на пустыре недалеко от дома Адама Эцля-Весельчака. Тут были люди не только из Кленеча, но и из Постшекова и даже немало дражиновских. Пёстрос, шумное, кричащее, смеющееся, поющее сборище. Пожилые мужчины в кожихах и плащах, молодые парни в расшитых узорами полушубках, женщины и девушки в длинных коричневых шубах или кофтах на бараньем меху, с цветными платками на головах. А над ними возвышались верхом на конях ряженные.

Всадники выстроились широким полукругом перед домом Эцля-Весельчака. Крайним справа был старый еврей, скрючившийся на спине тощей кобылы; поводьями служили ему старые истрёпанные верёвки; он так натягивал их, «сдерживая» дремлющую клячу, что вокруг непрестанно раздавались взрывы смеха.

Возле него на вороном коне восседал чорт, который дико вращал глазами и показывал язык смерти в белом саване, сидевшей рядом на белой лошади. Слева от смерти был всадник, весь обёрнутый в солому; чепрак под седлом у него тоже был соломенный. Дальше на рослой гнедой лошади, важно надувшись, сидел толстый немец в красном камзоле и широкополой шляпе с разноцветными лентами. Так же одетый, только ещё более толстый земляк его ругался с двумя евреями, под которыми были такие же клячи, как у их «единоверца». Внутри полукруга стояли девять вольнщиков в отороченных мехом разноцветных шапках с широкими лентами и петушиными перьями.

Вольнщики играли без перерыва. Не успевали они кончить одну песню, как тотчас же, по команде Искры, начинали другую. Это была неслыханная музыка. Девять вольнчок разом! В толпе передавали, что это придумали Весельчак с Брыхтой. Казалось, что стены домов дрожат от оглушительных звуков, и ничего мудреного, что под такую музыку, растанцовался осыпанный горохом медведь, которого держал на цепи и время от времени подбадривал палкой какой-то парень, наряженный в пёстрые лоскутья.

И ряженные, и вольнщики, и шумные зрители чего-то ждали. Козина понял чего, когда подошёл поближе. Он догадывался, впрочем, и раньше. В доме на краю пустыря открылось слуховое оконце, и с чердака на балкончик вылез Брыхта а за ним Весельчак. У Брыхты в руках была длинная, толстая палка, к верхнему концу которой были привязаны старые ремни и верёвки с узлами. Остановившись на видном месте посредине балкончика, Брыхта поднял кверху эту огромную плётку, а Эцль махнул рукой вольнщикам, давая знак умолкнуть. Притихли и зрители. Все взоры были устремлены на раскрасневшегося Брыхту, на его плётку и на выступившего вперёд

Весельчака, который важно и торжественно, как поп с амвона, возгласил, что случились два несчастья. Дважды великая скорбь постигла всех. Во-первых, умирает и завтра будет похоронена любезная всем масленица, а во-вторых, ещё раньше скончалась панская плётка, которой все могут отдать здесь последний долг. Так как эта плётка долго дарила всем радость и утешение, то христианский долг требует, чтобы все проводили скончавшуюся к месту её вечного, даст бог, успокоения и поплакали над её могилой.

Эцля недаром прозвали Весельчаком. Он так серьёзно произносил свою речь, такие корчил при этом рожи, что толпа захлёбывалась от смеха. Даже чорт хохотал. У смерти от смеха трясся оскаленный череп.

Когда хохот несколько стих, Весельчак громогласно обвинил, что пора трогаться в путь: раз эта плётка — панская плётка, то и похоронить её надо в панской земле. Пусть же люди возьмут её и похоронят как должно.

Шум, смех и весёлые возгласы приветствовали плётку, сброшенную Брыхтой с балкончика. Волящики заиграли снова. Медведь, проворно подбежав к плётке, схватил её и подал соломенному всаднику.

Толпа готовилась к походу. Ряженые поворачивали лошадей. Двое подростков подвели к дому рослых гнедых, приготовленных для главных распорядителей торжества — Брыхты и Эцля. Вдруг опять с новой силой поднялся шум. Это ликующими криками встречали Козину. Но Козина, не отвечая на искренние приветствия весёлой толпы, поспешил в дом, где столкнулся с красными от возбуждения, хохочущими Брыхтой и Весельчаком. Оба старосты шумно приветствовали гостя, и Козине стоило немалого труда уклониться от объятий Брыхты. Снаружи стонали девять волюнок и нетерпеливо шумела толпа. Подхватив Козину под руки с обеих сторон,

Брыхта и Эцль выбежали из дома, волоча его за собой и не обращая внимания на его уговоры.

— Да дайте же слово сказать!—взывал он.— Не будьте детьми!

— С нами, с нами, идём с нами!—кричал Брыхта, не слушая его.

— У вас в голове помутилось! Да с чего вы рехнулись? Стойте же!—не унимался Козина, вцепившись в Брыхту, уже занёсшего ногу в стремя.

— Пусти, Козина! Видишь там замок, туда и пойдём к немцу!..

— Айда!—добавил Весельчак и заллся смехом.— Айда к Ломикару...

— Опомнись, Весельчак! Ведь нельзя же... Хоть ты-то образумься... Потом жалеть придётся... Останови их... Стойте, люди добрые!—старался Козина перекричать шум, багровея от натуги.

Рёв вольноков и пронзительные выкрики заглушили его голос. Нестройные звуки далеко разносились в морозном воздухе. Толпа двинулась в путь, увлекая в своём потоке и Козину, а высоко над пёстрой толпой, в ярком свете безоблачного дня, отчётливо выделялась смерть в белом саване с высоко поднятой косой, сверкавшей в лучах зимнего солнца.

XV

Мария Ламмингер, в тёмнозелёной бархатной шубке, совсем готовая в дорогу, стояла у себя в комнате и нетерпеливо поглядывала на дверь. Дверь, наконец, отворилась. Вошла баронесса. Она тоже была в шубе.

— Едем?—воскликнула дочь.

— Нет ещё. Надо подождать отца.

По лицу девушки промелькнула тень.

— Он тоже едет с нами?

— Сказал, что да. Уже одевается.

— Что это ему вздумалось? Он ведь никогда...
— Никак не может дожидаться управителя. Думает, вероятно, встретить его по дороге или в городе...

Вдруг девушка подняла голову.

— Вы слышите, маменька?

— Да... шум, крики...

— Волюнки... и как ужасно пищат! Варварская музыка!

В комнату вошёл старый Пётр. Мария нетерпеливо обернулась к нему:

— Запрягли уже?

— Да, ваша милость... только... едва ли можно будет выехать... по крайней мере, сейчас...

Шум приближался, пронзительно визжали волюнки.

— Они, ваша милость...— испуганно сказал Пётр.

— Кто они?

— Мужики. Идут из Кленеча. Их ещё за три версты было слышно. Рёв такой подняли... Недели страшные маски... Один бог знает, что будет! В прежние годы они тоже хоронили масленицу, но только у себя в деревнях...

— Куда же они направляются?— спросила баронесса.

— Они тут совсем близко... идут... идут к нам...— пробормотал со страхом старый камердинер.

Приоткрылась дверь из большого покоя, и показалось бескровное веснучатое лицо Ламмингера.

— Идите сюда. От меня лучше видно.

Пётр испуганно вздрогнул. Мария оторвалась от окна и побежала в комнату отца. Баронесса медленно последовала за ней, не проявляя особенного любопытства. Старый камердинер остался на месте, прислушиваясь и продолжая бормотать:

— Нет, это неспроста... Ой, неспроста...

В кабинете Ламмингера стояли у окна мать и дочь, а за ними сам барон. Все трое глядели на при-

ближавшееся шествие. Впереди, улюлюкая, бежали вприпрыжку ребятишки и подростки, за ними шёл медведь со своим вожатым, а за медведем волынщики, ряженые, чорт, смерть, Брыхта и Весельчак верхом, парни, девушки, мужчины, женщины. Нескончаемое шествие...

Мария забыла о поездке.

— Какой смешной этот чорт... и смерть тоже... и немцы...— и она весело расхохоталась. Баронесса тоже не могла удержаться от улыбки.

По лицу Ламмингера пробежала презрительная усмешка.

— С ума посходили. Заранее торжествуют. Дурачьё!..

— Посмотрите, отец!— воскликнула Мария.— Видите там соломенного всадника? Что это у него в руках?

— Да, да,— сказала баронесса.— Я тоже вижу. Что это у него?.. И они поворачивают к замку...

Шум и крики раздавались уже у самого замка. В кабинете барона дребезжали оконные стёкла.

— Ой!— вскрикнула Мария, затыкая уши пальцами.

Туча набежала на лицо Ламмингера. Лоб его прорезала глубокая складка.

— Разнузданное мужичьё!— прошипел он.— Нарочно... под самыми моими окнами...

— Они останавливаются! Что они хотят делать?..— воскликнула баронесса, бросая испуганный взгляд на мужа.

Ламмингер, не отвечая, глядел на остановившуюся перед замком и рассыпавшуюся вокруг небольшого пруда толпу. Двое ходов выступили вперёд. Несколькими мощными ударами своих тяжёлых чеканов они вырубил прорубь у берега — там, где остановился соломенный всадник, державший в руке «скончавшуюся» плеть и потрясавший ею в сторону замка.

Люди по обе стороны всадника расступились, и перед ним предстали чорт и смерть.

— Что это значит? И почему они сразу так стихли?— спрашивала мужа встревоженная баронесса.

Губы Ламмингера искривила ледяная усмешка.

— Я вам всё объясню, дорогая. Там, у этого соломенного чучела в руках плётка. То есть она должна, вероятно, обозначать меня... А стихли они потому, что чорт или смерть — ага, да, смерть, видите, она машет рукой, что-то говорит — так, я угадал, чучело уже отдаёт смерти и чорту эту плётку. Да, это я... они уже держат меня... и плачут в насмешку... и... ха-ха-ха!

Чорт и смерть с такой силой швырнули панскую плётку в воду, что брызги высоко взлетели над толпой. Баронесса слабо вскрикнула. Но ещё больше её испугал зловещий смех мужа. Она хорошо знала этот смех.

На мгновение в комнате воцарилась гнетущая тишина. А за окном снова загудели девять вольноков и раздавались восторженные возгласы толпы.

— Готово! Утопили меня,— сквозь зубы процедил Ламмингер, не отрывая глаз от окна. Голос барона выдавал, что внутри у него всё кипело.— А это похоронный марш,— добавил он тем же тоном. Жена и дочь со страхом глядели на него, не смея проронить ни звука.

— А, старые знакомые! Брыхта... а это Эцль... а там дальше... ну, да, впрочем, никто не уйдёт. Как! И Козина здесь? Ну, да, конечно... А я всё-таки считал тебя умнее. И ты думаешь взять этим?.. Но хватит! Побаловались! Разогнать!..— крикнул барон и стремительно повернулся к дверям.

Баронесса схватила его за руку, умоляя не выходить из замка,—их там так много...

— Сплошной сброд!

— Но они так возбуждены!

— Просто пьяны. Я спущу на них собак!

В это время в дверях появился перепуганный Пётр, докладывая, что канцелярия просит приказаний.

Ламмингер овладел собой.

— Я сам сойду вниз.

— Они уже уходят,— поспешно сказала Мария, продолжавшая стоять у окна. Баронесса облегчённо вздохнула.

Ламмингер повернулся к окну. Шествие действительно тронулось дальше.

— Они не возвращаются обратно в Кленеч. Они идут в Уезд,— сказала баронесса.

— Как же иначе, если Козина их пригласил!— ответил Ламмингер. Он говорил уже более спокойным тоном, но глаза его горели злобой.

Он прошёлся несколько раз по комнате, затем опять остановился у окна. Шествие уже скрывалось за поворотом. Звуки волюнок и весёлые возгласы доносились всё глуше и глуше. Мать и дочь чувствовали себя неловко. Охотнее всего они бы ушли, но они не решались обратить на себя внимание барона, который попрежнему, погружённый в мысли, стоял у окна. Наконец он повернулся к жене и дочери, о которых на несколько минут совершенно забыл, и сказал, что останется дома и не поедет с ними. У них тоже пропало желание ехать в город; они боялись встретиться по дороге с разгулявшимся мужичьём.

Но Ламмингер отказался от поездки не из-за этого, а потому что ему предстояла новая работа: спустившись в канцелярию, он распорядился, чтобы немедленно составили донесение в Прагу и Вену о сегодняшних происшествиях, а также послали драбанта к старостам в Постшеков и Кленеч и к крестьянину Козине с приказом явиться на следующий день в замок.

Тем временем баронесса старалась утешить заливавшуюся слезами дочь.

— Ни на час нельзя отсюда вырваться!— рыдала девушка, стуча кулаком по ручке кресла.— Держит нас тут среди дикарей...— И она закрыла лицо воздушным кружевным платочком, не слушая утешений склонившейся над нею матери.

Вдруг баронесса замолчала. Мария тоже подняла голову.

— Конский топот,— сказала баронесса.— Кто-то приехал. Вероятно, посланный, которого ждёт отец.

Она приблизилась к дверям кабинета.

— Разговаривает. Там кто-то есть. Надо позвать Петра. Он всё знает.

Но не успела она позвонить в колокольчик, как двери распахнулись и вошёл сам Ламмингер с распечатанным письмом в руках.

— Готово! Конец!— с необычайной для него живостью воскликнул он.

Жена испуганно на него взглянула.

— Приехал посланный,— пояснил он.

— Управитель?

— Нет. Тот захворал в дороге. Официальный курьер. Всё кончено, всё решено. Им отказали. Комиссия не признала их прав...

— Значит, вы выиграли?

— Полностью. Ну, сегодня они в последний раз поиграли в свободных. И это им тоже так не пройдёт!

— Они ещё не знают?

— Не знают и не предчувствуют. Наоборот, полны надежд. Ха-ха! Вот будет сюрприз!.. А ты, дочурка, всё огорчаешься?— он сделал шаг к дочери и взял её за подбородок.— Ну, теперь можно будет забыть об этом мужичье. Дай мне только выполнить несколько формальностей, и тогда твоё желание осуществится: поедем в Прагу.

— А много времени отнимут эти формальности?

— Можно было бы сделать всё очень быстро, но в Вене, как всегда, напутали,— стал объяснять барон,

обращаясь к жене.— Эти господа там не знают, что делается за пределами Вены. У них всё ещё числится по бумагам ходская крепость. И они требуют, тут вот,— Ламмингер щёлкнул пальцами по бумаге,— чтобы решение комиссии было объявлено ходам в их крепости в Домажлицах. Крепость! Была когда-то, да... А сейчас пусть эти венские господа полюбуются на её развалины! Да, крепость... вот бы распетушились снова ходы! Из-за этого-то всё и задерживается. Для верности надо добиться от Вены, чтобы именно здесь, в нашем замке, ходы узнали, как они выиграли процесс...

Драбант, докладывавший в тот вечер Ламмингеру о похождениях толпы в Уезде, глазам своим не поверил при виде спокойного равнодушия барона. Переступая порог кабинета, он дрожал от страха, ожидая взрыва гнева, который в первую очередь обрушится на него самого. А вместо того...

— Там веселились напропалую, ваша милость,— докладывал драбант.— Все были, как шальные. Плясали, кричали, а больше всех постшековский Брыхта. А едва увидели меня,— я тут не при чём, ваша милость, совсем не при чём,— такой хохот подняли... И чего только они не говорили... Впрочем, это теперь обычное дело... Хоть не выходи за ворота! Как завидят, проходу не дают...

Барон сделал нетерпеливое движение: рассказчик явно отвлекался в сторону.

— Это бы ещё ничего, ваша милость, если бы они только насмехались надо мной. Ещё хуже было, когда я объявил приказ, чтобы они пришли завтра в замок. Поднялся крик, а Брыхта вскочил, точно зверь, да как заорёт: «У нас своя управа в Домажлицах, в нашей крепости!»

Именно в этом месте рассказа драбант и начал удивляться спокойствию барона. Он ждал грозы, а барон только слегка кивнул и промолвил: «Дальше!»

— А затем, ваша милость, подскочил ко мне Весельчак, то есть Эцль из Кленеча, и кричит: «Иди скажи своему господину, пусть больше нас не зовёт! Пусть, кто хочет, ходит на барщину, а мы не обязаны!» А потом засмеялся и говорит: «Или, может, он хочет нас поблагодарить за сегодняшнее? Или ему жалко плётки? Так ничего уже не поделаешь — похоронена!» Тут все стали смеяться, кричать...

Драбант умолк, онемев от изумления: барон всё ещё ничего! Только усмехается как-то криво.

— А Козина что? — спросил, помолчав, Ламмингер.

— Козины я там не видел, ваша милость.

Теперь барону пришла очередь удивляться.

— Не может быть! — воскликнул он. — Ты проглядел его!

— Никак нет, ваша милость. Я ведь говорил с ним.

— Где?

— У него дома. Я хотел исполнить всё, как ваша милость изволили приказать. И пошёл к нему. Он был дома.

— Дальше.

— Он сидел с женой у стола. Она сильно испугалась, — это было видно. А он встал и спрашивает меня: «Что надо?» Я говорю — пойдёшь завтра в замок к его милости. «А зачем? Что там такое?» Так и отвечает, этими самыми словами. Я говорю — не знаю. А он: «Раз не знаю зачем, то и не пойду». Я от этих слов прямо оцепенел. Стою, жду — может, одумается, а он спрашивает, что я ещё хочу ему передать... Так эти люди распустились, никогда такого не...

— Довольно! — прервал его Ламмингер. Он больше не усмехался, брови его были нахмурены.

Драбант только разинул рот от удивления: барон и тут не вышел из себя. Весь вечер не мог опомниться выдавший виды слуга...

Весь Уезд, как и другие ходские деревни, предавался шумному веселью. Лишь Козина был задумчив и встревожен. Торжественное осмеяние тргановского немца отбило у него охоту веселиться. Он боялся, что добром это не кончится. Какое легкомыслие! Чем они занимаются! Сами вредят делу, которое стоит им столько му́ж и труда!

Не повеселел Козина и в следующие дни. Он так и не пошёл в замок, не пошли и остальные двое вызванных. А драбант больше не являлся. Разве не странно? Никто не вздумал вызывать их вторично — ни для допроса, ни для наказания за неповиновение; никто даже не вспомнил о вызове. Никто ни единым словом не упоминал и о шествиин, из-за которого, надо думать, их требовали в замок...

Складки на лбу Козины разгладились лишь после того, как Сыка получил письмо из Вены от Штрауса. Прокуратор писал, что комиссия приступила к работе, и можно надеяться на благоприятный исход дела. Такое же письмо, с припиской Юста, получил Криштоф Грубый. Правда, оба письма были писаны довольно давно. Из-за метелей и заносов они шли дольше обыкновенного. Хотя в тргановский замок, несмотря на бездорожье, прискакало в последние дни несколько нарочных... Да и оттуда выезжали гонцы и всё по одному направлению — в Вену...

Ганка и утром, и вечером молилась только об одном: чтобы всё благополучно кончилось. Она лучше всех знала мужа и видела, что он ходит сам не свой. Ничего не слушает, ничего не замечает, весь поглощён этим несчастным судом, от ожидания и беспокойства места себе не находит и поминутно бегает к Сыке, к матери и даже к дяде в Дражинов. Хозяйство совсем забросил, даже о ней и о детях забыл. А прежде что было для него дороже детей?

С грустью вспомнила Ганка, как, бывало, они сидели с мужем вдвоём и вели задушевные беседы о всяких делах, а больше всего о детях. И как часто он играл и шалил с ними... А теперь...

Так уплывал день за днём, неделя за неделей. Солнце уже заметно пригревало пробуждающуюся землю. В долинах таял снег, обнажались от зимнего покрова сизые поляны, понемногу просыхали дороги, и вдоль обочин пробивалась первая травка. Навлик притащил откуда-то Ганалке несколько пушистых веточек вербы, а за сараем нашёл подснежники и первоцветы. И вот однажды под вечер Козина вернулся домой, трепещущий и возбуждённый.

Глубокий вздох вырвался у Ганки, когда он сообщил ей принесённую от Сыки новость. Сыка получил из Пльзена извещение, что в тргановский замок приедет новый краевой гетман, чтобы объявить жителям ходских деревень ответ из Вены на их жалобу. Послезавтра они должны явиться в замок.

Как долог был весь следующий день! Как плохо спалось в следующую ночь! Раньше всех поднялась на поги старая Козиниха. Долше обычного стояла она на коленях, шепча молитвы. Потом, вместе с Ганкой, проводила сына за ворота и пожелала ему вернуться с радостной вестью. Она глядела ему вслед, пока он не скрылся из виду. Она сама пошла бы в Трганов, если бы пристало женщине открыто ввязываться в мужские дела. Старуха была весело настроена. Ведь и сын был полон надежд. Он твёрдо рассчитывал на старые грамоты и на обещанное правосудие. Да и все вести из Вены предвещали торжество справедливости, всё говорило, что немец никак не может одержать над ними верх.

— Ещё сегодня получим свободу!— говорила Козиниха, возвращаясь с известкой в дом.

— Дай-то бог!— подавляя вздох, ответила Ганка,

которая не могла отделаться от недоброго предчувствия.

Утро было прекрасное. Высоко в небе над бурыми полосами пашен и над зелёными всходами озими заливались жаворонки. Ослепительно сияло солнце.

Старый Пшибек, не снимая тулупа, грелся за домом на солнышке. Тихо было вокруг. Почти ни одного мужчины не осталось в деревне. Все ушли в проклятый тргановский замок, от которого ничего, кроме обид и притеснений, ни они, ни их отцы не видали. Ну, да сегодня, пожалуй, будет иначе. Все так думали. Только Матвей угрюмо молчал, отправляясь вместе с другими. «Что-то выйдет,— думал старик,— с чем они вернутся?» Надежды были у всех, у многих не было никаких сомнений. Кто знает? Не добро ли сулила та звезда, та комета?

Старик поднял голову. Из дому, весело припрыгивая, вышла Манка. Она перекинулась с дедом несколькими словами и поспешила дальше — за ограду, посмотреть с пригорка, что делается на полях. Однако, поднявшись на пригорок, она глядела только в одну сторону — в сторону тргановского замка, куда ушёл её отец и гости из Поциновиц. Ей не стояло на месте, она опять побежала домой, повертелась около деда и кинулась в дом — ещё раз всё рассмотреть и прибрать получше. Старый Шерловский будет сегодня сватать её за сына, — это успел ей наскоро шепнуть влюблённый парень, — сегодня она станет невестой, а после страды — господи! — его женой! Манка замечталась, глаза её блестели, на губах играла улыбка.

В это самое время дочь Ламмингера, Мария, торопливо возвращались из сада в замок. Так приятно было гулять по усыпанным песком дорожкам, между пестреющей там и сям зеленью, под оживившимися ветвями деревьев, покрытых набухшими почками. Но царивший вокруг покой нарушили шум-

ные гости. Грубые мужские голоса послышались у ворот замка. Гул нарастал, превращаясь в рокот, подобный шуму разливающихся вод. Мария испугалась, когда выглянула из-за кустов. Всюду белые суконные жупаны, чёрные широкополые шляпы.

Ходов было видимо-невидимо. Молодые, старые, румяные, высохшие, но всё народ статный, с живыми глазами, выразительными лицами, с длинными падающими на плечи волосами. Собрались люди со всего ходского края. Они явились на зов краевого гетмана. Каждый хотел собственными ушами услышать радостную весть. Ходы стояли, разбившись на кучки — по возрасту, по знакомству, а то и просто по деревням. Больше всего людей было из Кленеча, Постшскова и Уезда. Но и отдалённые Кичев, Льгота и Поциновицы прислали сюда немало мужчин. Самая большая и шумная кучка собралась в конце липовой аллеи, вокруг Брыхты и Эцля-Весельчака, масленичное шествие которых вызвало столько разговоров. И сейчас все заливались смехом, когда Весельчак с комическими ужимками рассказывал о похоронах плётки.

У самых ворот стоял Криштоф Грубый с Козинной и несколькими ходами постарше. Они молча глядели в сторону замковой канцелярии, куда ушёл для переговоров Сыка. Ламмингер хотел, чтобы решение Вены было прочитано в канцелярии. Управитель уже вышел за ворота, чтобы отобрать несколько человек для присутствия при этой церемонии. Но ходы, все как один, восстали против этого.

— Зачем же нас звали?— кричали они.— Все жаловались, все и слышать хотим!

Гул многочисленных голосов вдруг разом затих. Даже в самых дальних кучках прекратился говор. В воротах появился Сыка и замахал чеканом, призывая к вниманию. Далеко слышимым голосом он закричал:

— Пап краевой гетман согласился! Входите во двор! Поживее!

Словно неожиданно налетел вихрь, словно внезапно прорвало плотину. Ходы разом двинулись с места и бурным потоком устремились через сводчатые ворота во двор. Впереди всех — постшековский Брыхта, голос которого был отчётливо слышен даже среди этого шума и гама. В одну минуту двор замка побелел от ходских жупанов. Стояли плечом к плечу, сверху ничего не видно было, кроме широкополых шляп, кое-где торчала высокая шапка или поблескивал кованный чекан. Впереди, под окнами канцелярии, собрались старосты. Тут же был и Козина. Немного поодаль стоял Матвей Пшибек, возвышаясь над всеми, как дуб над мелкой порослью.

Все взоры были устремлены вверх, к окнам, откуда предстояло услышать долгожданную весть — несомненно, радостную. Уверенность, порождённая письмами венского прокуратора и Юста, ничем не была поколеблена. Ламмингер до последней минуты не проронил ни слова о состоявшемся решении, хотя сам уже давно знал о нём. Он ждал, пока Вена разрешит объявить его ходам не в их бывшей крепости в Домажлицах, а в его тргановском замке.

Мало кого из собравшихся тревожили сомнения. Да и те не отважились бы сейчас открыто высказать их, настолько все были возбуждены и исполнены веры. Всё же у Сыки никак не укладывалось в голове, почему ни Штраус, ни ходоки ничего не написали о венском решении. Но и его вывел из беспокойного раздумья Козина, напомнив ему, что у начальства лучше налажено сообщение с Веной, чем у них.

Так или иначе, сейчас всё будет ясно. Толкотня прекратилась, но сдержанный гул голосов ещё перекатывался по двору и отражался эхом от белых стен замка. И вот... наконец! Слуга распахнул окна

во втором этаже, в канцелярии, одно, другое... В правом показался человек в длинном парике, в чёрном кафтане, с бумагой в руках. К нему подошёл другой и остановился рядом. И этот был в таком же парике, но кафтан его сверкал золотым шитьём. Это был новый краевой гетман Гора. В воздухе замелькали широкополые шляпы. Ходы в знак почтения обнажили головы перед представителем императорской власти. В это время в другом окне показался Ламмингер. От Матвея Пшибека не укрылась злобная усмешка немца, когда взгляд его водянистых глаз упал на густую толпу ненавистных ему и ненавидящих его ходов.

Наступила мёртвая тишина. Подняв руку, гетман заявил, что он привёз решение по делу, разбиравшемуся вследствие поданной ходами жалобы, и говорит сейчас от имени его императорского величества... А посему надлежит в почтительном молчании выслушать то, что будет ходам объявлено, и впредь поступать сообразно объявленному. Произнеся эту краткую речь, гетман кивнул секретарю, который развернул бумагу и приготовился читать. Козина почувствовал, как у него забилося сердце. Вся толпа затаила дыхание.

Раздался голос чиновника. Бумага излагала жалобу ходов и постановление о назначении комиссии,— всё известные вещи, которые не могли удовлетворить жгучее нетерпение слушателей. Это было как пытка, каждый мучительно ждал, когда же, наконец, дойдёт до самого решения. И вдруг!.. Словно молния ударила в толпу. Все вздрогнули.

«Ходы,— читал секретарь,— давно лишились своих прав и привилегий, а так как в 1668 году им было строжайше предписано *perpetuum silentium*, то есть вечное молчание, и так как они, невзирая на это, осмелились вновь добиваться упомянутых прав и привилегий, то за этот своевольный и дерзкий по-

ступок они заслужили строгое взыскание и наказание. Тем не менее они получают прощение, с тем, однако, неизменным условием, чтобы они впредь не устраивали тайных сборищ, не бунтовали, а равно не подавали и не посылали никаких петиций, прошений или жалоб по поводу своих мнимых прав».

Пока секретарь читал, во дворе царила полная тишина. Чем дальше, тем полнее и тем тягостнее становилось молчание. Ходы были ошеломлены. Порою кто-нибудь резко оборачивался к соседу, и молча встречались смятенные взгляды. Чем крепче была надежда, тем большее было разочарование. У всех словно язык отнялся. Чиновник дочитал роковое место и на мгновение замолк. Над толпой ещё висела зловещая тишина. И вдруг из чьей-то обманутой, оскорблённой и возмущённой груди мощно грянуло в эту свинцовую тишину:

— Неправда!

Вихрь ворвался во двор. И сразу взметнулись тысячи гневных возгласов, воздух наполнился криком негодующих ходов. Одним словом было сказано всё. Грозный рёв толпы служил ответом краевому гетману и бурной поддержкой человеку, кинувшему это слово. То был Козина. Он выступил из толпы и остановился прямо против окна. Высоко подняв голову и глядя горящими глазами в лицо гетману, он говорил. Едва только в толпе заметили, что Козина говорит, крики стали стихать, и вскоре водворилась тишина.

— Это неправда, этого не может быть!— восклицал Козина.— Если бы то, что здесь читали, было правдой, если бы у нас не было никаких прав и привилегий, то это сказал бы нашим ходокам в Вене сам император. И зачем бы стали назначать комиссию, если бы наши права утратили силу?

Ламмингер весь передёрнулся и высунулся из окна, но тотчас же отшатнулся назад, отброшенный новым взрывом бешеных криков.

— Верно! Верно!— гремело со всех сторон среди бури оглушительных гневных возгласов.

— И наши тоже нам написали бы! — кричал Эцль, обращаясь к толпе.

Гетману пришлось ожидать, пока шум несколько стих.

— Кто из вас подал жалобу?— крикнул он из окна.

— Я! Я! Мы все! Мы все!— прозвучал единодушный ответ.

Толпа продолжала волноваться. Кое-где вокруг более пылких смельчаков стали образовываться плотные кучки людей. Краевому гетману удалось всё же ещё раз обратиться к разгорячившимся ходам. Он стал призывать их к спокойствию. Волнением и криками делу не поможешь; они уже достаточно повредили себе своими проступками против барона фон Альбенрейта — тем, что самовольно охотились в его лесах, не выходили на барщину, не платили оброка, избивали его слуг и забылись до такой степени, что нанесли возмутительнейшее оскорбление самому барону.

Общий смех прервал в этом месте гетмана. Он, однако, не смутился и продолжал, повысив голос:

— Дошло дело до того, что ваш пан не чувствует себя в безопасности среди вас и вынужден был просить солдат для охраны!

Бурные возгласы снова прервали речь гетмана.

— Солдат? Против нас? Стрелять в нас? Ах, живодёр! — раздались отовсюду неистовые крики. Над разъярённой толпой блеснул топорик чекана, один, другой, третий, и через мгновение целая туча страшных палиц грозила панскому окну.

Ламмингер поспешил скрыться.

— Именем его императорского величества!.. — надрывался гетман. Ему много раз пришлось повторять этот возглас, пока он был услышан толпой.

— Войска уже были посланы, но ваши ходяки обещали в Вене...

— Кто дал им право?— воскликнул Эцль.

— Они подписали бумагу, составленную вашим прокуратором...

— Негодяй! Никто его не просил! Он подкуплен!

— Подкуплен! Подкуплен!— подтверждала толпа.

— Делайте, как хотите, но я даю вам добрый совет. Повинуйтесь и исполняйте, что вам велят. Тут дальше говорится в решении, что вы должны в моём присутствии под присягой обещать покорность своему милостивому пану, барону фон Альбенрейту. Только в этом случае вы можете получить прощение...

Он не договорил. Дикий взрыв возмущения мог испугать и более смелого человека.

— У нас ещё есть наши грамоты!— кричал гетману Эцль.

— Не будем присягать! Не будем! Мы не обязаны!— раздавалось среди бури яростных криков.

И вдруг громовый голос покрыл эту бурю:

— Бей Ломикара!

Это был голос Матвея Пшибека. И весь двор ответил ему:

— Бей Ломикара! Бей его! Смерть немецкому пану!

И лес чеканов снова поднялся над толпой.

Гетман хотел было сделать ещё одну попытку уговорить толпу. Секретарь, дрожа от страха, умолял его не подвергать их обоим опасности. Ламмингер тоже подошёл к гетману и, бледный, как смерть, просил его оставить этих бунтовщиков в покое. Внизу заметили Ламмингера. Это подлило масла в огонь. Матвей Пшибек, постшековский Брыхта, молодой Шерловский, а за ними и другие с поднятыми чеканами ринулись к дверям замка. Но ещё раньше их на крыльце очутились Козина и его дядя, Криштоф Грубый. Они загородили собой дорогу к дверям. Дра-

жиновский староста стоял на ступенях лицом к ходам. Глаза его пылали, шляпа с него слетела, и длинные седые волосы развевались по ветру. Решительная минута возвратила ему былую силу и гибкость. Выпрямившись, как юноша, и сжимая в руке чекан, он твёрдо глядел прямо в лицо разъярённым людям.

— Ни шагу дальше! — крикнул он. Внушительный вид и суровый голос старого хода остановили даже Матвея Пшибека. — Что вы надумали? Убивать? Ходы вы или разбойники? Так вы хотите отстаивать свои права?

— Люди добрые! — восклицал, стоя несколькими ступенями выше, Козина. — Опомнитесь! Ещё не всё кончено! Надо ещё проверить, правда ли то, что нам читали. В Вене нам скажут...

— И у нас ещё есть право апелляции! — добавил «прокуратор» Сыка, взобравшийся на ступени рядом с Козиной.

Поднятые чеканы опустились. К крыльцу протеснились более спокойные люди. На многих подействовали слова Козины и Сыки.

— Если бы не Грубый с Козиной, был бы Ломикару конец! — продолжал бушевать Брыхта, не слушая пытавшихся уговорить его постшековских земляков.

— И настала бы тишь да гладь, да божья благодать, — поддержал его чей-то голос.

Матвей Пшибек, возмущённый миролюбием земляков, дрожа от гнева, посмотрел на них сверкающими глазами и сказал с кривой усмешкой:

— Ну, ещё посмотрите, как вас отблагодарит за это Ломикар!

Словно рой раздражённо гудящих, потревоженных пчёл покидали ходы тргановский замок. Ещё долго звучали в воздухе яростные проклятия, которые они

призывали на голову Ламмингера. Не забыли они и прокуратора Штрауса, подкупленного, по их единодушному убеждению, бароном.

Бурные споры вспыхнули сразу за воротами замка, одну предложение сменяло другое, и каждое было проникнуто страстным ожесточением. Споры не утихли и после того, как толпа разбилась на кучки и ходы стали расходиться по своим деревням. В каждой кучке спорили и проклинали, с каждой из них шли в деревню гнев и ненависть к немецким панам. Шли, чтобы бурным пламенем вспыхнуть во всех деревнях, во всех закоулках обманутого и преданного ходского края...

В замке вздохнули свободнее. Буря вокруг отшумела. Во дворе могильная тишина. Ворота и двери заперты на засовы. Старый Пётр понемногу пришёл в себя от смертельного страха, охватившего его при виде возмущившихся ходов.

Обед в замке подаи был поздно. Никому не хотелось есть — ни хозяевам, ни гостям — краевому гетману и его секретарю. Гетман выразил своё восхищение мужеством баронессы, остающейся здесь с дочерью в такое тревожное время. Баронесса не решилась ответить ему, почему она остаётся в замке. За неё ответил супруг.

— Она мне не верила, когда я говорил, что это за народ. И всякий раз упрашивала меня не вызывать солдат. Я должен был сделать это тайком от неё. Очень жаль, что высшие власти не сочли возможным удовлетворить мою просьбу. Сегодня вы сами, господин гетман, могли убедиться, кто прав. Мы не можем считать себя здесь в безопасности. Жёну и дочь мне придётся, конечно, увезти отсюда. Но что станет с хозяйством, если меня самого не будет здесь? Если они при мне так возмутительно ведут себя, то что же будет, когда я уеду? А если я останусь, кто поручится, что моя семья когда-нибудь

увидит меня? Нет, нет, правительство обязано предоставить мне охрану. Без солдат не обойтись. Надеюсь, что вы разделяете моё мнение. Ведь, помимо всего прочего, дурной пример заразителен. Если мои крепостные будут безнаказанно своевольничать, то что скажут крестьяне в других местах? Не станут ли и они бунтовать? Сейчас достаточно небольшого отряда, а потом, чего доброго, и нескольким полкам нелегко будет справиться. Вспомните, что было тринадцать лет назад!

— Я думал до сих пор, что мирный путь предпочтительнее,— ответил гетман Гора.— Но я вижу, что они зашли слишком далеко. Достоинство и авторитет власти требуют, чтобы такие случаи, как сегодня, больше не повторялись.

— Лучше всего было бы изъять главарей...

— Вы изволите знать всех?

— Главный подстрекатель — это Юст из Домажлиц. Впрочем, ещё опаснее Козина, крестьянин из Уезда. Тот, который сегодня так дерзко кричал вам в ответ.

— Да, я уже знаю по вашим сообщениям. Смелый человек. И как горячо говорит! И неглупо...

— Вот поэтому-то он и опасен. У него бесспорно есть дар слова. Если он захочет,— а вы можете не сомневаться, что он захочет,— он всегда сумеет воспламенить их. Посадить его за решётку, и волнения быстро уляжется...

— Надеюсь, что на сегодня они отбушевали,— заметил гетман.— Не думаю, чтобы у них хватило дерзости на новую выходку после того, как они слышали императорский указ. Но в случае малейших волнений я сам буду настаивать в Праге на присылке войск.

— Ну, значит, мы скоро услышим звон палашей,— с улыбкой сказал Ламмингер, наливая золотистое вино в кубок гостя.— Надо думать, они больше не

явятся сюда с чортом и смертью. А тем временем у них, может быть, переведутся пылкие и смелые ораторы...

За столом все поняли, в кого он метит и что больше всего оскорбило надменного барона фон Альбсрейта, холодные глаза которого вспыхнули злобой при одном только воспоминании об этом.

XVII

Манка Пшибек старательно прибрала в доме, готовясь к приходу гостей. Заслышав с улицы крики «наши идут!», Манка, напевая весёлую песенку, убежала за ворота. Ходы действительно возвращались из Трганова. Возвращался и её отец, но он шёл один. Это, впрочем, её не удивило. Она сообразила, что сваты должны притти отдельно — как будто невзначай. Но когда отец подошёл поближе, и она встретилась с ним взглядом, у неё замерло сердце. Матвей Пшибек был мрачен, как туча. Манка не решилась заговорить с ним. А когда старый Пшибек спросил, чем кончилось дело, Матвей коротко проворчал что-то и поспешил уйти в поле, чтобы к нему не приставали с расспросами о том, что было сегодня в тргановском замке. Манка узнала об этом от соседей и, узнавши, чуть не расплакалась. Вот тебе и невеста!..

Сегодня сваты уже наверняка не придут...

Старый Пшибек, когда услышал обо всём, даже не вспомнил о предполагавшемся сватовстве и сговоре. Он только покачивал дряхлой головой и бормотал себе под нос: «Это комета! Это комета!»

А Манка, забравшись в уголок, где никто её не видел, дала волю слезам. Но это были не просто слёзы разочарования, а слёзы обиды и гнева. Она не была бы дочерью Матвея Пшибека, если бы

при мысли о несостоявшемся сватовстве в ней не закипала злоба против того, кто был причиной всех бед,— против тргановского немца.

Только на мгновенье у Манки высохли слёзы, когда неожиданно прибежал молодой Шерловский, чтобы объяснить ей всё. У парня сверкали глаза и дрожали руки, когда он рассказывал о подлости Ламмингера и о том, как Козина с Грубым помешали им раз навсегда расправиться с проклятым немцем.

— Но как только мы вышли за ворота замка,— вернулся он к рассказу о неудавшемся сговоре,— я напомнил отцу, что мы собирались к вам. Но он и слышать не хотел. «Отложим,— сказал он,— не такой день сегодня, чтобы устраивать празднество...»

Манка молча опустила голову. Шерловский схватил её за руку.

— Девочка моя золотая,— зашептал он нежно и страстно,— клянусь, ты моя перед богом. Что не удалось сегодня, сделаем завтра. Ты моя суженая, только смерть нас разлучит!..

Он прижал её к себе. Это было их обручение — под открытым небом, среди разбуженных весенним солнцем цветов и деревьев, под ликующую песнь жаворонка.

Весенние работы в поле кончились рано. Ходы работали только на своей земле и не тратили лучшие дни на панских полях, как в прошлые годы. О барщине не было и помина, словно после многих лет рабства в ходский край снова вернулась свобода. Управители приказывали и грозили, но никто их не слушал. Ходы, казалось, забыли, что им читали в тргановском замке. На самом деле они не забыли; они просто не верили.

Работы было немало, и всё же многие хозяева, особенно люди постарше, очень часто уходили куда-то

из дома, обычно под вечер, в сумерки. Куда — не говорили. Впрочем, хозяйки знали, что они совещаются где-то о Ломикаре и о том, как быть дальше. И никто так часто не покидал жену и детей, как Козина. Он пропадал по целым вечерам и нередко возвращался поздней ночью. Один раз он вернулся только к утру. Ганка догадывалась, что означают его ютлочки. Можно было бы расспросить старуху, — та, наверное, знает, — но Ганка не решалась заговорить с ней. Она не забыла, как оборвала её Козиниха, когда она просила её подействовать на Яна. И молодая женщина молчала, но тревога терзала её. Её красивое лицо похудело и побледнело. А Ян не замечал, казалось, ни её, ни детей. Он, точно замороженный, думал только об этом злосчастном суде с немцем.

Только раз, — и это был последний раз, — Ганка вся расцвела от радости. Однажды в воскресенье, после обеда, она возилась в углу с детьми. Прежде, бывало, муж тоже подсаживался к ним. Теперь он, подперев голову рукой, сидел у стола и, по обыкновению, весь ушёл в свои думы.

Вдруг она почувствовала, что он поднял голову и смотрит на неё. Она почти испугалась, когда он встал и направился к ней в уголок. Лицо её зарделось, когда он заглянул ей в глаза и озабоченно спросил:

— Ганка, ты нездорова. Ты так худеешь... Что с тобой?

— Нет, ничего. Я здорова...

— Сходила бы к бабке.

— Бабка не господь бог... Моей беде она не поможет. Сам знаешь!

Глаза Ганки наполнились слезами. Козина погладил её по голове.

— Я знаю, Ганка... знаю, что мучаю тебя. Но что же делать! Не моя воля. Так суждено. И вер-

нуться назад мы не можем. Бог даст, выиграем. Ведь правда на нашей стороне. И опять заживём хорошо, лучше, чем прежде.

Ганке в эту минуту и в самом деле было хорошо. Ян нагнулся к детям, подсел к ним, остался тут в уголку, принадлежал только им и жене. И Ганка опять улыбалась. Мир опять посветлел.

Зато на следующий день набежали новые тучи.

Под вечер, когда Ганка осталась одна, в горшцу вошёл незнакомый человек, отмахиваясь палкой от яростно лаявшего старого Волка. Незнакомец был небольшого роста, худощавый, в тёмной городской одежде, в чёрных чулках и запыленных башмаках с большими пряжками. Лицо его ей не понравилось: торчащие скулы, плоский нос, беспокойные чёрные глаза.

Ганка испугалась. Особенно смутили её его глаза. Гость спросил хозяина. Она ответила, что муж ушёл, а на вопрос — куда, отозвалась незнанием.

— Когда вернётся домой, скажи ему, хозяйка, что приехали из Домажлиц. Пусть придёт к Сыке. Обязательно!

Когда незнакомец ушёл, Ганка вышла за ним во двор и следила издали, зайдёт ли он ещё к кому-нибудь, кроме старосты. Но незнакомец, нигде не останавливаясь, уверенно шагал прямо к Сыке, словно был в деревне старым знакомым.

Что ему надо? Наверное, насчёт суда... Не тот ли это, что подстрекал их тогда? Не Юст ли? Да, конечно. Вернулся из Вены и хочет начать всё сызнова.

Ганка с нетерпением ждала мужа. Может быть, утаить от него, что к нему приходили и звали к Сыке? Но Козина не возвращался. Вместо него поздно вечером молодую женщину посетил новый гость. Вернее — гостья, Дорла, жена вольничика Искры Жегурека. Дорла пришла пожаловаться на мужа. Без малого две недели уже, как он ушёл из дома, и за всё

время о чём ни слуху, ни духу. Правда, он говорил, что вернётся не раньше, чем через неделю, а то и позже, и пусть Дорла не беспокоится. Идёт он, мол, по важному делу в Прагу. По какому делу, к кому? Ни за что не хотел сказать, даже отцу. Денег он оставил Дорле достаточно, да и от Сыки и от других ей ещё прислали.

Дорла, ожидавшая ребёнка и легко поддававшаяся всяким страхам, успела уже бог знает что передумать и пришла теперь к старой подруге посоветоваться и расспросить её — Искра пошёл, наверное, по поручению Козины. Ни для кого другого он не оставил бы её теперь — и шагу не ступил бы из дома.

Ганка не могла сказать ей ничего утешительного. Она совсем не знала, что Искра отправился в такой далёкий путь. Козина ничего не говорил ей. Ни слова. И она сама стала жаловаться: ходит, как в лесу, ничего не знает и только дрожит за Яна, которому, наверное, не миновать беды за этот суд с Цемцем.

Дорла ушла поздно, но Ганка, проводив гостью, ещё не легла спать. Ей было не до сна. Она всё поджидала мужа. А тот, как назло, точно в воду канул. Должно быть, узнал о незнакомце из Домажлиц и теперь сидит с ним у Сыки. Ганка стояла у окна и нетерпеливо всматривалась в ночную тьму. Наконец не выдержала, повернулась и набросила на голову платок, чтобы пойти и убедиться, что Ян сидит у старосты с горожанином, но в это время послышались шаги Яна.

Он широко раскрыл глаза, увидев, что Ганка ещё не ложилась. Ганка ответила, что должна была передать ему ещё сегодня...

— Я уже знаю, — сказал Ян.

— Это тот токарь из города?

— Да, Юст. От только что вернулся из Вены.

— А чего он хочет? Чтобы вы опять послали людей в Вену?

— Ишь ты, догадалась, умница! Ну да, за этим бы и приходил. Только опоздал маленько. Мы и без него это сделали.

Ганка в испуге всплеснула руками.

— Да, ещё недели две тому назад. Об этом никому не известно. Наши пошли в Вену через Баварию, чтобы их не перехватили по дороге.

— Вот почему ты всё время пропадал по ночам!

— Да, теперь уж я могу сказать тебе. Они уже в Вене и, наверное, успели побывать при дворе. Юст рассказал, как обошёл нас Ломикар. Подкупил нашего прокуратора, и тот оставил нас без всякой помощи как раз, когда она особенно была нужна. Мошенник! Всё время водил наших за нос. Потерпите ещё, потерпите! Такое дело быстро не делается!.. Только деньги брал.

— И Юст тоже из таких...

— Может быть. Ну, что ж, сбойдёмся и без него. Но сегодня он правильно сказал: не надо против немца действовать силой. Драки с лесничими и с драбантами были большой ошибкой. Они нам повредили при дворе. Краевой гетман тоже говорит это. Хорошо, что сейчас везде тихо. Только бы не сорвалось.

— А что делает Искра в Праге?— спросила Ганка, вспомнив о Дорле.

— В Праге? Искра? Он туда и не заглядывал. Он был в Вене и мы ждём его с часу па час.

Козине незачем было сбъяснять жене, что Искра назвал Прагу, чтобы скрыть истинные цели своего путешествия. По просьбе Козины, Искра отправился с новыми ходоками, чтобы поскорее принести известие о том, как их встретили в Вене. Он должен был вернуться уже не через Баварию, а прямым путём. Ходы не хотели полагаться па письма: письма шли долго, а то и вовсе пропадали по дороге. А вольт-

щика, да ещё такого весёлого и разбитного, как Искра, кто задержит?

Козина уже ложился, когда Ганка спросила его, что будет делать этот чернявый, Юст, который ей так не понравился.

— Говорил, что скроется на время, пока не кончится суд. Бойтся Ломикара.

— Правда?

— Вероятно. Оно и лучше. Если бы его поймали да поприжали, он не сумел бы держать язык за зубами. Слышишь, Ганка?— воскликнул вдруг Козина.

Он прислушался и поспешно подошёл к окну. В бледном свете луны промелькнула тень. Стук в ворота повторился.

Козина выбежал во двор и через минуту возвратился с гостем, при виде которого Ганка вскрикнула:

— Искра!

— Да, Искра. Но голодный, как волк. Найдётся у тебя, Ганка, ломоть хлеба? Я шёл весь день и всю ночь,— сказал волынщик, тяжело опускаясь на лавку и кладя на неё волынку. Он вытянул ноги и глубоко вздохнул.— Не шёл, а летел! Как ветер! Но тебе уже, вижу, не терпится,— улыбнулся он Козине.— Хочешь узнать?.. Хорошо, всё хорошо! Наши были при дворе, и всё обошлось благополучно. Ещё не конец, как тут читали в замке. Император переслал дело в Прагу, чтобы там его рассмотрели ещё раз.

— Да ну?— радостно всплеснул руками Козина и засыпал друга вопросами, на которые Искре мудрено было отвечать, так как рот у него был набит хлебом с маслом. Он с жадностью ел и запивал молоком. Постепенно, однако, он выложил все подробности: о дороге, о прибытии в Вену, о приёме ходоков при дворе, об утомительном обратном пути. Но главное он сказал уже сразу: процесс не кончен, и жалоба ходов будет разбираться снова.

Козина готов был проговорить с ним до утра, но

Ганка напомнила, что Искра устал и надо дать ему отдохнуть. Хозяин предложил ему постель, но Искра решительно отказался.

— Нет, пойду к Дорле. Соскучился...

Он очень обрадовался, когда Ганка сказала, что Дорла была здесь вечером и чувствует себя хорошо.

— Так значит, аист у нас ещё не побывал?—весело спросил он.— А я-то мечтал, что приду и усядусь у уюльки...

— Подожди, не уйдёт от тебя...

Взяв вольнку и простившись с хозяевами, Искра зашагал домой. Луна уже заходила, на востоке светлая полоса предвещала рождение нового дня. Воздух был свеж и прохладен, лицо приятно обвевал ветерок. Искра, набравшись новых сил, не шёл, а бежал. Вот и дом его — у опушки чёрного леса. Ну, теперь уж он насидится дома! Как он скучал там, в огромном городе, какой длинной казалась ему дорога! Деревня погружена ещё в глубокий сон. И Дорла спит. Вот будет радость, когда он постучит и окликнет её! Искра вдруг остановился, как вкопанный. Что это? Нет, это просто ему показалось. Он зашагал дальше по покрытой росой тропинке. И уже почти у самого дома он снова услышал... Да ведь это же плач! Крик! Детский плач, детский крик!

Искра бросился со всех ног. Вольнка чуть не слетела у него с плеча. В это время из дома выскочила какая-то женщина с кувшином в руке и побежала к колодцу. Это была мать Дорлы. Увидев зятя, она крикнула:

— Беги скорей! Сын! Мальчик!

Искру не надо было понукать. Усталости сразу как не бывало. словно не длинный и трудный путь он проделал, а в живую воду окунулся. Весь сияющий взлетел он на крыльцо и от волнения едва нашёл щеколду. А за дверью желанный первенец приветствовал его своим плачем.

Ганка горячо радовалась за Дорлу, когда Искра вернулся домой. Слушая жалобы Дорлы, она искренно скорбела вместе с женой. А теперь её самоё ждало такое же горе. Козина тоже отправляется в далёкий путь. Всё этот суд!..

Уже готовится в дорогу, уже наказывает, что и как делать без него по хозяйству. А эта бессердечная старуха, его мать, делает вид, будто он уходит куда-то недалеко по соседству. Да ещё твердит Ганке, что это для него большая честь, а через неделю-другую он вернётся и больше уж никаких хлопот у него не будет. Сейчас это последний раз.

Последний раз! Ох, если бы так!

Вести, принесённые Искрой, оказались верными. Вскоре через Пльзен пришло из Вены сообщение, что жалоба ходов передана в апелляционный суд. Одновременно было получено распоряжение, чтобы ходы, кроме прежней делегации, прислали в Прагу семь человек грамотных и пользующихся доверием крестьян для участия в окончательном разборе дела.

«Не могли они обойтись без Козины!— сетовала в душе Ганка.— Зачем его выбрали? Зачем он взялся за это?»

А он взялся! Да ещё с какой готовностью! В Вену он не хотел идти, а в Прагу отправлялся охотно. Там не обязательно было знать по-немецки, можно было защищаться на родном языке и можно, наверное, добиться толку. После сообщения из Пльзена Козина, как и все в ходском крае, не сомневался, что решение, объявленное в тргановском замке, было подложное, и он был прав, когда возражал краевому гетману. Там читали, что делу конец, да ещё грозили всякими карами! Потому-то немцы так спешили тогда и требовали немедленной присяги на крепостную верность и послушание. А дело пошло

в апелляционный суд! Что-то скажет теперь Ломикар? Должно быть, сам не рад, что связался с ходами. Ну, теперь-то будет настоящее решение! Семеро грамотных принесут из Праги не то, что объявлял гетман. Во всех ходских деревнях уныние сменилось радостью.

Козина был весел, спокоен и полон надежд. Лишь в последние часы у него защемило сердце. Ганка собирала его в дорогу, молчаливая, грустная. Ничто у неё не спорилось. Даже простые коржи не удавались ей. Она всё путала, всё валилось у неё из рук...

Вечером Козина наскоро забежал к Сыке, и они вдвоем пошли к Пшибеку. Матвей был дома. Он сидел за столом и ужинал. Гости тоже присели, и рассудительный Сыка завёл речь о предстоящем окончательном разбирательстве дела. На этот раз можно думать, что решение будет другое.

— Примерно такое же, как и в Вене,— вставил с усмешкой Пшибек.

— И Вена решила бы иначе, если бы не драки с драбантами и это шествие с плёткой.

— Ты думаешь?— усомнился Пшибек.— Ну, вот, сейчас мы вас слушаем, сидим тихо и смиренно, шелухнуться боимся. А что будет — увидим.

— За этим-то мы к тебе и пришли. Уж как-нибудь потерпите. Помолчите немного. Недолго осталось ждать,— сказал Козина.— Обещай нам, Матвей!

— Гм!.. Ко мне за этим пришли... Значит, я тут буян?.. Ну, ладно, буду молчать, если меня не станут трогать. Посмотрим, чего вы там добьётесь. Но только знайте: если немцы начнут, я в обиду себя не дам. А сам не начну — вот вам моя рука! Подождём, с чем вы вернётесь. Счастливого пути! — И Матвей протянул гостям руку.

— Слово он сдержит,— говорил Козина, выходя с Сыкой за ворота.— Теперь я спокоен.

Вечер он провёл с женой и детьми. Старая Козиниха тоже пришла и засиделась до ночи.

Ганка долго не могла уснуть. Пробуждение тоже было печальное. Едва она открыла глаза, как вспомнила, что Ян сегодня уезжает.. Сердце её сжалось от острой тревоги. Уезжает всего на неделю-другую — что с ним может случиться? — и всё же!

Козина был уже на ногах. Он побывал в хлеву, зашёл в конюшню поглядеть на лошадей, ещё раз окинул хозяйским взглядом усадьбу, потом направился в огород.

Было раннее июльское утро. Трава блестела от росы, в воздухе звучало пение птиц. Молодой крестьянин остановился и невольно загляделся на родные места. Налево, на Дубовой горке, в первых лучах зари загорались верхушки деревьев. Прямо впереди синел могучий старый лес Дмоута, тут же высился Зеленев, рядом с ним Гавловицы, а у самого леса опустевшие выселки — Гамры. За Дмоутом в голубоватой дымке виднелся хребет Осека. Куда ни глянь, всюду холмы, горы, вершины, покрытые дремучими лесами, принадлежавшими когда-то ходам.

Взгляд Козины остановился на волнующейся полосе хлебов за усадьбой. Крестьянин глубоко вздохнул и направился в дом. Мать была уже там. Дети проснулись. Только теперь почувствовал Козина всю тяжесть разлуки. На мгновенье он забыл обо всём; в это мгновенье для него существовали только дети. Он втирал Павлику, чтобы тот не очень шалил без него, и гладил золотистую головку Ганалки, с улыбкой отвечая на её вопросы, что такое Прага и какая она...

В это время вошёл Сыка, совсем готовый в дорогу.

Ганка встала. Что она могла сделать? Она принесла

мужу его лучший жупан, в который он и переоделся. Придётся ведь ходить к важным людям. Это был свадебный жупан. В одной из петлиц его были продеты две длинные ленты — подарок невесты, память о счастливом дне свадьбы. Эти ленты полагалось носить, «пока цел хоть кусок жупана».

Козина и Сыка уже вставали из-за стола, когда послышался голос Криштофа Грубого. Он тоже отправлялся в Прагу и пришёл проститься.

— Я уже не молоденький. Кто знает, что может быть. Хотел ещё раз взглянуть на тебя, сестра, да на тебя, Ганка, и детей твоих поцеловать. Спаси вас бог!

Ганка расплакалась. Старая Козиниха молча протянула брату руку, но глаза её тоже подёрнулись слезами, подбородок у неё дрожал. А когда подошёл сын, слёзы ручьём потекли по её морщинистым щекам.

Козина старался как-нибудь успокоить Ганку. Не навек же он уезжает! Но когда он наклонился к детям, то у него подкатил к горлу комок.

В самую последнюю минуту прибежал Искра Жегурек. Не мог же он не попрощаться со старым другом и крёстным отцом его Юрика! Вместе с остальными он проводил Яна за ворота. Там отъезжающих уже ждала повозка. Тут же собрались соседи пожелать своим выборным счастливого пути.

Повозка тронулась. Козина всё время оглядывался. Оглядывался даже тогда, когда не видно было уже плачущей жены и детей, оглядывался с грустью, пока не скрылся окончательно из глаз родной Уезд. Спутники его тоже были задумчивы и молчаливы. Слишком много зависело от их поездки. Разговорились лишь в Домажлицах, где их ожидали уже остальные выборные: Юрий Печ из Ходова, Немец из Медакова, пылкий Брыхта из Постшекова и Адам Эцль-Весельчак из Кленеча. Все разместились в повозке и, не теряя времени, тронулись в дальнейший путь.

Недалеко от города их нагнала карета, запряжённая четвёркой вороных в роскошной сбруе. За каретой ехала повозка с панской челядью. Позади скакали четверо верховых. Когда карета поравнялась с повозкой ходов, Козина привстал, чтобы лучше рассмотреть, кто едет. В это время чья-то рука отдернула занавеску, и из окна кареты выглянуло веснушчатое лицо, обрамлённое пышными бублями аллонжевого парика.

Взгляд Козины встретился с холодным, колючим взглядом Ламмингера. Молодой ход не отвёл глаз. Голова барона исчезла, уступив место хорошенькому личику его дочери.

— Везёт мешки с золотом!— буркнул Печ.

— Чтоб ему шею сломить по дороге!— от души пожелал Брыхта, следя за баронской каретой, быстро катившейся по направлению к Праге.

Из выборных никто, кроме Сыки, не бывал раньше в Праге. У них голова закружилась, когда они очутились в чешской столице. Куда Домажлицам до этой громады—столько улиц, столько домов! Куда тамошним воскресным толпам до этого непрерывного потока людей, переполняющего улицы в самый обычный, будний день! Меньше всех отдавался таким впечатлениям Козина. Он тоже был удивлён и поражён, но чудеса столицы не поглощали всего его внимания. Мысли его были заняты предстоящим судом. «Прежде всего,—думал он,—надо разыскать земляков, возвратившихся из Вены, чтобы вместе с ними отстаивать ходские права перед пражским судом».

Они нашли их без большого труда. Ходсков было трое—Пайдар из Поциповиц (он был также и в первой делегации, которая вернулась из Вены вскоре после того злосчастного дня, когда гетман собрал ходов во дворе тргановского замка) и двое других. Пайдар и его спутники рассказали, как они добились пересмотра дела, и похвастали, что нашли нового,

превосходного прокуратора, пана Тункеля из Берничка, который всей душой сочувствует ходам. Его родители пострадали во время тридцатилетней войны, когда правительство отобрало у них все поместья, так что у них ничего, кроме дворянского герба, не осталось. Оказалось, что он прекрасно знает, кто такие ходы и чем они были в прошлом; у него есть даже латинская книжка, в которой написано, как они ходили и охраняли границу и какие им были предоставлены права. А когда ходоки сказали ему, что две грамоты удалось спасти, и спросили, не утрачены ли ходские права за давностью, пан Тункель рассмеялся и объяснил, что на такие права никакая давность повлиять не может.

— Лишь бы он не оказался таким же, как Штраус,— заметил Грубый.

— Ну, теперь совсем другое дело,— сказал Козина.— Мы сами будем на суде и сами сможем себя отстаивать. Наше дело правое,— добавил он с непоколебимой верой в торжество правосудия.

Ходы с нетерпением ожидали пана Тункеля, который должен был приехать в Прагу с часа на час. Надо было посоветоваться с ним, что и как делать и говорить на суде. Но уже наступил день суда, а они так и не дождались своего прокуратора.

С раннего утра пришли они в Градчаны. Проходя по внутренним дворам древнего королевского замка, они в изумлении раскрывали глаза при виде величественных памятников старины. Криштоф Грубый остановился и, показывая чеканом вокруг, сказал:

— Тут жили наши чешские короли, и других повелителей мы не знали. Один король над нами и никакого пана!

— Особенно такого, как тргановский немец,— вставил Брыхта.

Они вошли в собор святого Вита и прослушали

обедню, а затем направились к большому зданию напротив и отыскивали вход. В этом здании происходили заседания апелляционного суда. У входа они остановились и стали дожидаться. Немец и Печ молчали, подавленные впечатлениями от Праги, от Градчан, от всего, что они видели. Козина был возбуждён в ожидании суда, он изредка ронял два-три слова и всё время нетерпеливо озирался вокруг — не идут ли судьи. Эцль вполголоса рассказывал что-то весёлое, но никто не смеялся, и он умолк. Да ему и самому было сейчас не до шуток. Спокойнее других были старый Грубый и «прокуратор» Сыка, сдержанно разговаривавшие между собой.

Медленно тянулось время. Солдаты, слуги, лакеи в расшитых галунами ливреях сновали мимо или выходили из одних дверей и мгновенно исчезали в других. Наконец прошли несколько важных господ в чёрных кафтанах, чёрных чулках и башмаках с пряжками.

— Они! — шопотом пронеслось среди ходов, пытавшихся угадать ожидавшую их судьбу по строгим лицам предполагаемых судей.

Потом с грохотом подкатили несколько карет с лакеями на козлах и на запятках. Слуги низко склонились перед вышедшими из карет седоками, особенно перед одним из них, которого узнал и Сыка. Это был председатель апелляционного суда, граф фон Штернберг.

Однако прошло ещё много времени, пока за ходами явился судейский служитель. Они поднялись по широкой лестнице, и служитель ввёл их в зал, большой и светлый, но очень простой и скудно обставленный.

Здесь им пришлось долго ждать. Наконец открылись двери из соседнего покоя, и на пороге появился высокий, худой человек в чёрном кафтане, который громко и отчётливо произнёс:

— Пусть войдёт староста Юрий Печ из Ходова!

Ходы были ошеломлены. Они были убеждены, что их позовут всех разом.

— Ну и ну!— вполголоса обратился Сыка к Козине.— Что-то будет?..

Сыка покачал головой и вдруг заметил какого-то судейского в чёрном кафтане, который тихонько вошёл в зал и теперь молча, с угрюмым видом, стоял в двух шагах от ходов. Чего доброго, чтобы наблюдать и подслушивать!

Печ скоро вернулся, а вместо него вызвали Немеца из Медакова.

— Чего они от тебя хотели?— спросил Брыхта ходовского старосту.

— Спрашивали о драках и о шествии в заговенье.

— Не разговаривать! — слышался низкий глухой голос.

Все оглянулись. Голос принадлежал человеку в чёрном, который, предостерегающе подняв палец, строго смотрел на ходов.

После Немеца наступила очередь Брыхты, за Брыхтой пошёл Эцль-Весельчак, затем Криштоф Грубый, а после него вызвали Козину.

Козина стремительно вскочил и быстрыми шагами направился к дверям. Перешагнув порог, он на мгновение остановился, смущённый необычным зрелищем. Прямо против него восседали судьи. В чёрных мантиях, в больших аллонжевых париках с буклями, спускавшимися на плечи и спину. Посредине на возвышении сидел пожилой человек с жёсткими чертами лица — председатель апелляционного суда, Вацлав Войтех граф фон Штернберг. По правую руку от него, на «скамье вельмож», сидели: Макс Норберт граф Коловрат-Краковский, Фердинанд Октавиан граф Врбенский и недавно назначенный членом суда Ян Вацлав граф Вратислав фон Митровиц. Налево от председателя «рыцарскую скамью» занимали: Даниил Вацлав Мирабель фон Фрайгоф и Франц Николай Астерле

фон Астфельд. Ниже, на «докторской скамье» сидели советники суда, доктора прав Ян Христиан Парубек, Гавриил Мариус, Ян Михаил Кнехт и Петр Бирелли. Немного в стороне от них, в огромном парике, в очках на носу и с длинным гусиным пером в руке сидел чешский секретарь суда, Кашпар Ян Купец. На покрытых тёмнозелёным сукном столах стояли чернильницы, в которых торчали гусиные перья, лежала бумага и книги.

Все взоры обратились на уверенно и смело вступившего в зал молодого хода. Особенно пристально глядел на него какой-то пан, не принадлежавший, по видимому, к числу судей, так как он стоял в стороне. Козина тоже обратил на него внимание, хотя тогда он ещё не знал, что это поверенный его врага — прокуратор Ламмингера.

Председатель приступил к допросу. Судьи слушали, переводя взгляд с председателя на Козину и обратно. Впрочем, некоторые сидели, уставившись на зелёное сукно, с таким видом, словно им нет дела ни до чего на свете. А один из сидевших на докторской скамье, косой и ширококоротый Ян Христиан Парубек, развлекался длинными канцелярскими ножницами, пробуя их остриё на пальце и кривя при этом рот.

Первый же вопрос председателя сильно изумил Козину. Он не думал, что его будут спрашивать о таких делах, и не ожидал, что судьи так подробно осведомлены о них. Его расспрашивали о столкновениях в ходском крае, против которых он так решительно, хотя и безуспешно, восставал: о драках с лесничими и объездчиками, о нападениях на драбантов и прочих «бунтовских деяниях». Козина отвечал, что сам он ни разу не был очевидцем подобных происшествий, и добавил, что такие вещи случаются во всех поместьях, и если бы паны всегда жаловались на это в Прагу, то милостивым господам судьям пришлось бы заседать без перерыва днём и ночью.

Баронского прокуратора передёрнуло. Секретарь Купец поднял голову и бросил быстрый взгляд на Козину, а доктор прав Парубек, поглаживая пальцем лезвие ножниц, так перекосил рот к левому уху, что к этому уху собрались, казалось, все морщины с его лица.

Тем временем Козина продолжал говорить. Он объяснял образ действий ходов тем, что они были убеждены в своём праве; это убеждение только укрепилось, когда до них дошли известия о благосклонном приёме их ходоков в Вене; а кроме того, прокуратор Штраус в своих письмах уверял их в неминуемом выигрыше дела. При последних словах Козины граф Коловрат переглянулся со своим соседом, графом Вратиславом, который понимающе кивнул головой.

Но председатель прервал речь Козины строгим замечанием и сказал, что, судя по всему, ходы вели себя как бунтовщики, а ему, Козине, больше чем кому-либо другому, следует уяснить себе, о чём здесь, на суде, идёт речь, и держать себя почтительно и скромно, так как он провинился больше всех. И вопрос за вопросом посыпались на молодого хода: о старой межевой липе, о драке под ней, о том, как он утверждал, будто же знает, где спрятаны ходские грамоты, тогда как они были найдены в его усадьбе, о дерзких речах, возбуждавших ходов к неповиновению, о преступном участии в масленичном шествии, устроенном для издевательства над законными господами.

Козина был вне себя от возмущения. Мало того что их притесняют и грабят, их же ещё и обвиняют! И кто? Тот самый Ламмингер, который творит столько насилий и беззаконий, домогается ещё, чтобы их наказали по суду! И не гнушается при этом лжи!

Он старался сдерживаться, но голос его дрожал от негодования, когда он отвечал на эти обвинения. Он не отрицал столкновения под липой, но ссылался

на унаследованные от дедов права и на жалованные королями привилегии, оберегать и отстаивать которые долг каждого хода.

— Наши деды были свободны, и мы хотим быть свободны. У нас есть королевские грамоты, а нас вдруг ни с того ни с сего сделали крепостными. Высокородные господа судьи! Каково было бы вам, если бы вас вдруг неожиданно-негаданно сделали мужиками?

На этот раз все подняли головы — одни нахмурившись, другие с удивлением. Даже доктор прав Парубек оставил на миг свои ножницы и, ослабившись, скосил глаза на отважного защитника ходских прав.

В соседнем зале ходы недоумевали, почему так долго держат Козину. Он вернулся весь красный, глаза его были налиты кровью, на лбу выступила испарина. Ни слова не говоря, он опустился на стул рядом с Сыкой и только махнул рукой.

После него вызвали Сыку, затем Пайдара. Все перебивали поодиночке перед судом, но никого, кроме Сыки, не допрашивали так долго, как Козину.

Ходы облегчённо вздохнули, когда появился человек в чёрном кафтане и сказал, что они могут уходить. Они спустились по лестнице и вышли во двор. Судя по солнцу, было уже далеко за полдень. Озадаченные, они молча направились в город. Сыка первый подвёл итоги дня:

— Мы шли защищать грамоты, а выходит, что надо защищать самих себя. Ловко подстроил Ломикар! И размалевал же он нас!

— Я было начал о грамотах, — сказал Грубый, — но они не хотели и слушать. Только об этом заговесье...

— Я же просил вас тогда, — напомнил Козина, с упрёком глядя на Эцля и Брыхту.

Брыхта в ответ выругал Ламмингера.

— А меня всё спрашивали о письмах Юста и Штрауса, — сообщил Немец. И сейчас же выяснилось, что всех спрашивали об этом.

На постоянный двор ходы возвращались повесив головы. Больше всех были удручены Козина и Сыка.

Тем временем судьи собирались расходиться. Доктор прав Пётр Бирелли заметил своему коллеге, Михаилу Кнехту, что таких крестьян, как эти ходы, пожалуй, не найти во всём Чешском королевстве.

— И такого оратора, как этот Козина, тоже, — добавил доктор Парубек, подходя к ним. — Вот из кого бы вышел настоящий судебный оратор! Вы обратили внимание на его выпад? — и он, ухмыляясь, подмигнул в сторону «вельмож и рыцарей», столпившихся вокруг графа фон Штернберга. Они тоже говорили о ходах.

— Тёмные люди! — пожалел их граф Вратислав.

— Ну, да, одурачили их... — сказал граф Коловрат. — Этот плут прокуратор... Наобещал им золотые горы. Ничего мудрёного, если они были так твёрдо убеждены.

— Письма Штрауса мы затребуем через краевого гетмана, — отозвался председатель.

— Один из них ссылался также на их нового прокуратора. Тот будто бы тоже убеждён в их правоте, — с усмешкой вставил Астерле фон Астфельд.

— Простите, — обратился доктор Парубек к деорьянам. — Этого прокуратора я знаю очень хорошо. Это пан Блажей Тункель из Берничка... — и доктор Парубек язвительно усмехнулся.

— А-а, пан Тункель! — воскликнул граф Вратислав. — Он берётся уже и за такие дела?

— И как искусно ведёт их! Непоздоровится ходским карманам! — жалобно протянул доктор Парубек и так уморительно подмигнул, что строгие господа в пышных аллонжевых париках не могли удержаться от смеха.

Когда Ламмингеру доложили после обеда о прокураторе, он тотчас же велел его принять. Барон жадно слушал рассказ о сегодняшнем заседании суда, ни словом не прерывая своего поверенного. Когда прокуратор кончил, барон вскочил с места и мгновенно принял решение:

— Я сейчас же пошлю нарочного в поместье. Там найдут и отберут письма Штрауса. Через краевого гетмана это тянулось бы целую вечность, да они бы ещё и обманули его. А так мы их захватим врасплох, и суд получит всё через несколько дней.

Прокуратор согласился с бароном.

Вскоре из ворот старого дворца князей Лобковиц выехал нарочный с приказом, адресованным кутскому управителю Кошу.

На следующий день, в субботу, ходов не вызывали в суд, так как по воскресеньям, средам и субботам он не заседал. В понедельник их снова допрашивали поодиночке, и всё о проступках против Ламмингера. Во вторник, против ожидания, их вызвали всех сразу. Председатель внушительным тоном объявил, что все они виновны в грубом нарушении своих крепостных обязанностей, но, повидимому, действовали под влиянием разных лживых уверений; надо надеяться, что это удастся доказать, так как только это обстоятельство может смягчить их вину и заслуженное ими наказание.

— А наши права, высокородный пан?— воскликнул Козина.

Старик Грубый засунул руку за пазуху.

— В этом вопросе вы тоже обманываетесь,— строго возразил председатель. — Когда-то ваши права имели силу, но вы прекрасно знаете, что уже много лет тому назад они были отменены, и все грамоты объявлены недействительными.

— Зачем же в Вене назначали комиссию, если они недействительны?— стоял на своём Козина.

— У нас ещё остались грамоты! И как раз самые важные!— отчеканил Криштоф Грубый и вытащил из-за пазухи пергаментные свитки, спасённые старой Козинихой.

— Покажи!— сказал один из судей.

Грамоты стали переходить из рук в руки.

— Грамоты подлинные, но никакой силы больше не имеют!— объявил председатель.— А чтобы вы перестали, наконец, обманывать себя...

Громкий крик раздался в кучке ходов, и старик Грубый с неожиданным для его лет проворством подскочил к судейскому столу. Но уже доктор Парубек, по знаку председателя, перерезал длинными ножницами красно-белые шнуры печатей на обеих грамотах, а ещё через мгновение ножницы впились в захрустевший пергамент.

Ходы остолбенели. Они не в силах были произнести ни слова. Криштоф Грубый весь дрожал.

Наступила мёртвая тишина.

Члены суда не без участия глядели на ходов, потрясённых уничтожением последнего доказательства их привилегий, особенно на невольню внушавшего к себе уважение седовласого Грубого, по морщинистым щекам которого струились слёзы.

Первым опомнился Сыка.

— Высокопочтенные судьи!— воскликнул он.— Мы ни в чём не виновны, мы ничего не сделали Ломикару. А уничтожать стародавние, жалованные королями права только по одной его жалобе...

— Молчать!— прикрикнул на него председатель.— Поймите же, наконец, что не в этом дело. За проступки, на которые жаловался барон, мы ещё будем вас судить, и вы понесёте за них должное наказание. А пергаменты эти утратили силу ещё тогда, когда вам предписано было вечное молчание. Вы прекрасно

знаете, что это значит. Бросьте вспоминать о том, что было когда-то. Было и прошло. А вот там у вас люди всё ещё не хотят выполнять повинности и не выходят на барщину. Так пусть лучше двое-трое из вас поедут домой,— мы дадим на это особое разрешение,— и расскажут там, как обстоят дела, чтобы ваши земляки не ждали свободы и не упорствовали в своих проступках. Им не на что надеяться и нечего ждать. Пусть беспрекословно повинуются своему господину, иначе они будут считаться бунтовщиками, а что это значит, вы, надо думать, знаете сами.

Подавленные и молчаливые вышли ходы из здания суда. Сыке пришлось поддерживать Грубого; старик был так расстроен, что едва передвигал ноги. Придя на постоянный двор, они стали ломать себе голову — что делать дальше? Все сожалели, что прокуратор всё ещё не приехал. Его совет был теперь особенно нужен.

В конце концов решили отправить кого-нибудь домой — рассказать ходам, как их судит апелляционный суд. Сыка взял это на себя. Пайдар и Брыхта тоже не захотели оставаться здесь.

— Нет, в Праге я не останусь,— сказал Брыхта.— Я тут лопну от злости. Всюду жулик на жулике... И домой не хочу. Что я скажу там? Эй, мужички, жива немецкая плётка, ступайте поклониться ей в замок... Не пойду! Я вот что... пойду-ка я навстречу этому прокуратору.

— И мы с тобой!— воскликнул Пайдар. Эта мысль ему понравилась. Сыка тоже решил присоединиться. И все трое, не откладывая, отправились в путь.

Остаток дня и весь следующий день — среда, когда суд не заседал,— прошли для ходов в беспокойстве и ожидании. Козина не находил себе места. Он расхаживал взад и вперёд по комнате, высовывался в окно, выходил на улицу, и в конце концов всякий раз возвращался в угол, где лежал на постели рас-

хворавшийся Криштоф Грубый. Прокуратора всё ещё не было, но они надеялись, что до завтрашнего утра он придет, и они успеют посоветоваться с ним. Но настало утро, никто не приезжал, и ходы опять направились одни в Градчаны.

Козина сразу почувствовал, что на этот раз их встретили как-то суровее. Он собирался попросить, чтобы Грубому разрешили сидеть, так как старик еле доплёлся до Градчан, но не успел он открыть рот, как председатель уже начал допрос.

Прежде всего он спросил, отправили ли ходы кого-нибудь домой. Они отвечали утвердительно, хотя это было не совсем так.

— Это вы хорошо сделали, хотя, может быть, слишком поздно. Ваши земляки, видимо, потеряли рассудок. Будьте хоть вы благоразумны. Вы знаете, чего стоят ваши права. Проявите же покорность и принесите присягу на верность и повиновение вашему законному господину, высокородному барону фон Альбенрейту.

— Этого мы не можем!— воскликнул Козина.

— Нас на это не уполномочили!— подтвердил Эцль. — А сами мы не можем. Не смеем!

— Пусть ваша милость соблаговолит подождать!— слабым голосом попросил Грубый.

Пока вы спросите своих, не так ли?— иронически отозвался председатель.— Вот именно, только этого не хватало! Мы получили сейчас с нарочным сообщение, что ходы подняли бунт с оружием в руках, захватили управителя и, по всей вероятности, уже убили его. А мы чтобы пустили вас домой? Нет! Хотите — присягайте, подайте этим своим землякам добрый пример и подействуйте их успокоению. Не хотите — будем считать вас такими же бунтовщиками. Итак — будете присягать?

— Ваша милость!— взмолился Криштоф Грубый.— Я уже стою одной ногой в могиле... дайте нам хоть время на размышление...

— Не могу. Будете присягать?

— Не можем!—твёрдо ответил Козина.—Мы ни в чём не виновны, и наши права имеют полную силу.

На мгновение водворилось молчание. Судьи с изумлением глядели на непоколебимого молодого хода.

— Ну, а вы, остальные... согласны с ним? Будете присягать?

— Не можем!—глухо, но твёрдо прозвучали голоса остальных.

Председатель сделал знак рукой. Человек в чёрном кафтане в свою очередь сделал знак ходам, чтобы они уходили. На лестнице их ожидали десять императорских мушкетёров с офицером во главе. Офицер крикнул ходам:

— Следуйте за мной!

На всём пути от Градчан до новоградской ратуши люди останавливались и глядели на необычное зрелище. Семеро крестьян в белых суконных жупанах и чёрных широкополых шляпах шагали, окружённые мушкетёрами. Один из солдат с трудом нёс семь тяжёлых дубовых чеканов, которые были отобраны у ходов на постоялом дворе: там на минуту остановилось шествие, чтобы арестованные могли захватить свои узелки. Пражские горожане с любопытством рассматривали странных «преступников»; особенное недоумение возбуждал седой старик, которого поддерживал под руку молодой ход. Зрители указывали друг другу на арестованных, на их шляпы, на отобранные чеканы, на красные ленты, развевавшиеся в петлице жупана у одного из арестованных.

Ходы не разговаривали между собой. Только вначале по выходе из Градчан они обменялись несколькими короткими замечаниями. Всем пришёл в голову один и тот же вопрос: верно ли они расслышали, что ходы восстали? Да, все они это слышали. Каждый мог сказать словами Юрия Печа из Ходова:

— Я хорошо это слышал. Так он и сказал, тот пан за столом.

— Ох-ох! Что-то будет!— огорчился Грубый.

— Это, наверное, Пшибек...— угрюмо заметил Козина; его беспокоила мысль о жене и детях. Когда ходов привели под своды новоградской ратуши и они очутились в темнице, эта мысль ещё сильнее резнула его.

— Ну, с богом, прощайте,— вздохнул Грубый, переступая зловещий порог городской тюрьмы. Он прощался с небом и солнцем, не надеясь их больше увидеть. Старик в изнеможении опустился на доски, служившие одновременно и ложем, и столом, и сиденьем, и ещё раз вздохнул.— Вот что выпало нам на долю! Но что-то дома, что дома?

Этот вопрос неотступно грыз всех, а в особенности Козину.

На следующий день, когда солнце уже близилось к закату, к пражским городским воротам подъехал экипаж, запряжённый парой рослых гнедых. Сам по себе он не бросался в глаза, но нельзя было не обратить внимания на кучера, который был одет в ходский жупан. Не доезжая ворот, экипаж остановился, и из него вышли поциновицкий Пайдар, постшековский Брыхта и «прокуратор» Сыка. Выйдя, они стали топтаться на месте. Из экипажа к ним нагнулся полный краснолицый человек в чёрном платье и в огромном парике. Он положил руку на дверцу — белую мясистую руку с дорогим перстнем на среднем пальце. Это был дворянин Блажей Тункель из Берничка, которого трое ходов встретили в дороге. Он часто моргал маленькими хитрыми глазками и быстрой скороговоркой объяснял ходам, почему он попросил их выйти здесь, и почему он хочет въехать в город один. Он говорил так быстро, что

ходы еле успевали следить за его словами, и прежде чем они могли опомниться, он уже протянул им руку, сладко улыбаясь и назначая место, где они могут найти его завтра.

— С богом, мои милые, с богом! Поужинайте как следует, ложитесь и спите спокойно. Всё будет в порядке, всё, всё! Я подготовил дело прекрасно. Да, да, знаю, всё знаю! С богом, с богом!

И пан Блажей Тункель поехал, ещё раз помахав им пухлой белой рукой. Перстень ярко сверкал в лучах заходящего солнца.

— Да, не нравится он мне,— произнёс Сыка, провозжая глазами экипаж.

— И денег требует без конца,— заметил Пайдар.— На дорогу, на экипаж...

Разговаривая, они подошли к воротам, но здесь их задержала толпа. В самой гуще они увидели экипаж Тункеля. Стража у ворот остановила экипаж и требовала, чтобы седок вышел. Тот не хотел и с жаром что-то говорил, заявив под конец:

— Как вы смеете задерживать меня? Да вы знаете, с кем говорите? Я прокуратор, дворянин Блажей Тункель из Берничка!

— Вас-то именно я и должен арестовать,— коротко ответил офицер.

— Вы пожалеете об этом, сударь!..— побагровев, крикнул Тункель.

Он попробовал было сопротивляться, но двое солдат вытащили тучного прокуратора из экипажа и отвели его в караульное помещение. Вокруг смеялись и оживлённо обсуждали происшествие. Сыка и его спутники слышали, как в толпе говорили:

— Это прокуратор домажлицких крестьян, тех ходов, которых посадили вчера в тюрьму.

— Я видел, как их вели.

— А ты видел их палицы?

— А кто тот старик, что еле передвигал ноги?

Ходы переглянулись.

— Наших посадили! Нам в город нельзя...

— Надо убираться подобру-поздорову...—и Пайдар уже готовился повернуть обратно, когда Брыхта остановил его и Сыку.

— Пойдите!—сказал Брыхта, вытягивая шею.

Кто-то неподалеку рассказывал:

— Что вы, разве не слышали? Их посадили потому, что там, в Домажлицах, ходы бунтуют. Убили управителя и нескольких папских людей.

Сыка стоял, как поражённый громом.

— Это Матвей Пшибек!..—пробормотал он.

— И молодец!—сразу разгорелся Брыхта.—Теперь я пойду домой. Матвей прав. Надо идти. И поскорее! Я буду с Пшибеком!

Сыка ничего не ответил и только озабоченно покачал головой.

XX

Приблизительно за неделю до того, как у пражских городских ворот был арестован прокуратор Блажей Тункель, жена Козины, Ганка, вышла перед вечером искать рябую наседку, которая вечно заводила своих цыплят в рожь. Маленькая Ганалка сенила за матерью и рвала цветы. В поисках наседки Ганка озиралась во все стороны, пока взгляд её не упал на дорогу, ведущую в город. В эту минуту рябая наседка могла бы забраться куда ей угодно; молодая хозяйка забыла не только о ней, но и обо всём на свете.

По этой дороге вернётся домой Ян! Что если он вернётся сегодня—вдруг его голова мелькнёт там среди хлебов! А ведь тут нет ничего невозможного. Уже пошла другая неделя, как он уехал, а он сам говорил, что не позже чем через две недели будет дома. Ах, скорее бы он вернулся! Так тоскливо, так

пусто здесь без него... Он так нужен дома — и ей, и детям, и хозяйству. Когда же, наконец, он вернётся? И свекровь, и соседи, выдавшие виды старики, — все уверяют её, что его никак не могут задержать в городе.

Ганка стояла задумавшись и не слыхала шумного говора, внезапно огласившего тихую деревенскую улицу. Она ничего не слыхала бы, если бы за ней не примчалась соседская девочка. Она поспешно вернулась во двор и в отворенные ворота увидела, что в деревне что-то неладно. Люди бегом возвращались с поля, собирались в кучки и о чём-то взволнованно толковали. Не успела Ганка спросить, что случилось, как из своего вдовьего домика выбежала старая Козиниха. С нею чуть не столкнулся влетевший в открытые ворота запыхавшийся, растрёпанный мальчуган. Женщины сразу узнали его. Это был подпасок из Дражинова. Еле переводя дыхание, он стал рассказывать, что сегодня на усадьбу Криштофа Грубого неожиданно нагрянули панские чиновники из Кута.

Двор мгновенно наполнился соседями, и мальчик рассказывал уже перед многочисленными слушателями, что в Дражинов приехали кутский управитель Кош и пуркраби¹ с вооружёнными до зубов егерями и лесничими. У Грубого выломали двери, так как никого дома не было, всё перерыли, перевернули вверх дном...

— Да что им нужно было? — спросила старая Козиниха.

— Искали какие-то бумаги из Вены... я не знаю.

— Нашли что-нибудь?

¹ Пуркраби — испорченное «бургграф». В Чехии, в поместьях крупных землевладельцев-феодалов, так назывался начальник вооружённой охраны замка; но роль его обычно не ограничивалась этим, и пуркраби был главой частной, помещичьей полиции.

— Что-то, говорят, забрали.

— А куда уехали?

— Не знаю... Меня послали в Уезд сказать, что, наверное, явятся и к вам...

— Явились уже!— крикнул какой-то парень из толпы.

— Я тоже видел,— подтвердил другой.— Двое верхом...

— Где же они?

— У Сыки.

— Воры!— воскликнула Козиниха.

— Они и к нам придут, мама!— испугалась Ганка.

— Пусть приходят! Бумаги!.. Верно, те письма...— кричала старая ходка.— Да, это они умеют! Являются, когда мужчин нет дома! И всё этот Кош... он уже раз чуть не убил Яна!.. Люди добрые, заступитесь, не бойтесь! Не то от них ни минуты покоя не будет! Покажите им! Заступитесь, не выдавайте нас!

В это время кто-то в толпе закричал:

— Эй-эй! Дражиновские! Сюда, сюда!— и замахал рукой показавшейся невдалеке кучке мужчин.

Те остановились. Уездские ходы кинулись им навстречу, и на дороге собралась большая толпа.

— Где эти воры?— озлобленно кричали дражиновские. Они рассказывали то же, что и подпасок, — как управитель Кош со своими подручными выломал у Грубого дверь, перерыл весь дом и забрал письма. — Жена Грубого говорила — шесть писем: от прокуратора, от Юста и от наших, когда они были в Вене.

— А сейчас наши в Праге, на суде,— раздались ответные крики.— Ломикару эти письма нужны против нас! Ребёнку понятно! Идём, крестьяне, отнимем письма! Где эти воры?

— У Сыки,— сказал кто-то, и в ту же секунду со всех сторон послышались возгласы:

— Матвей идёт! Матвей! Пшибек!

Молчаливый великан неспешными шагами действи-

тельно приближался к толпе, собравшейся на дороге возле усадьбы Козин.

— Ты слышал?— кричали ему и свои, и дражиновские.

— Да, слышал. Отняли письма у вас, а теперь отнимают у нас. Что же вы хотите?

— Отобрать, не отдавать немцам!— кричали мужчины.

Угрюмое лицо Пшибека просветлело.

— Да? Я так и думал. Женщины и дети по домам!— повелительно крикнул он.— Мужчины, за чеканами!

Мужчины бросились за оружием. Дражиновские пришли уже с чеканами.

Ганка поспешила во двор искать Павлика, который по обыкновению куда-то пропал. Старая Козиниха осталась в воротах.

Тем временем управитель Кош продолжал рыться у Сыки. Здесь, правда, его ожидал меньший успех, чем в Дражинове. Кончив своё дело, Кош обратил внимание на то, что шум возле дома старосты неожиданно стих. Сперва, когда они приехали, людей тут собралось видимо-невидимо, а теперь, когда он со своей добычей— увы, одним единственным письмом— вышел на улицу, чтобы тронуться в обратный путь, его провожала только перепуганная хозяйка и ещё две-три женщины. Кош и пуркраби сели на лошадей. Четверо егерей с ружьями шли впереди, остальные вместе с лесничими— сзади и по бокам. Письма, отобранные у Грубого и у Сыки, были спрятаны под тёмносиним кафтаном Коша.

У дома старосты и по соседству было тихо, но дальше, в конце деревни, слышался глухой рокот.

— Не нас ли они поджидают?— заметил пуркраби.

Кош презрительно усмехнулся.

— Ну, не такие уж они дураки. Они знают, что такое ружьё..

Угрожающие крики заглушили дальнейшие слова Коша. Всадники натянули поводья. Егери остановились. Дорогу им преграждали уездские и дражиновские ходы, вооружённые дубинами и чеканами, с Матвеем Пшибеком во главе.

По обе стороны дороги, куда ни глянь, виднелись чеканы. Металлические насечки ярко сверкали на солнце.

Немецкая рать в нерешительности остановилась. Но Кош был старый солдат, его не так легко было смутить.

— Чего вы хотите, крестьяне?— крикнул он.— Дайте дорогу!

— Воры!— раздался в ответ оглушительный рёв.— Письма! Отдай письма!

Управитель видел, что добром дело не кончится. Его пропустят, только если он отдаст письма. А на это он пойти не хотел и не мог. Он твёрдо помнил не допускающий никаких отговорок приказ барона— немедленно и какой угодно ценой добыть эти письма.

— Егери! Пли!—скомандовал Кош и одновременно выхватил шпагу.

Но не успели егери приложить ружья к плечу, как на них бросились ходы с Матвеем Пшибеком во главе. Прогредел один выстрел. Но только один. Кош видел, как ходы, точно пчёлы, облепили его телохранителей со всех сторон. Пуркраби мигом стащили с седла. Не видя другого исхода, Кош круто повернул лошадь, изо всех сил вонзил ей шпоры в бока и, пригнувшись к луке седла, поскакал через деревню обратно.

Он слышал позади яростные крики, слышал погоню. Камни свистели мимо его ушей, но он очертя голову мчался через деревню к дороге, ведущей в Трганов.

Недолгий бой уже кончился. Пшибек отдавал короткие, отрывистые приказания. Он приказал уне-

сти ружья; отнятые у егерей, а затем потребовал у пуркраби похищенные письма. Пуркраби клялся, что писем у него нет. Пшибек велел обыскать его, но у него действительно не нашли ни клочка бумаги.

— Что же теперь?— вполголоса спросил Пшибек один из дражиновских.

— Что теперь?— спокойно ответил Матвей.— Этих вот,— он указал на егерей,— мы отпустим домой. А ружья останутся здесь. И пуркраби останется тоже, пока мы не получим наши письма обратно.

И когда парни, вернувшиеся из погони за Кошем, сообщили, что управитель ускакал в Трганов, Пшибек ещё раз подтвердил своё распоряжение:

— Ладно. Значит, как я сказал, так и сделаем.

Егерей и лесничих отпустили, а пуркраби, оставленного в качестве заложника, отвели во двор к Пшибекам.

Прошло не больше часа после этих событий, а Кош уже успел тайно отправить из тргановского замка в Кут надёжного слугу. У посланного на груди были спрятаны похищенные у ходов письма и красноречивое донесение Коша о том, как он, рискуя жизнью, еле вырвался из рук разъярённых ходов. Гонец пробрался полевыми тропинками в Кут, где был уже готов верховой, ожидавший писем. Теперь он повёз не только письма, но и два сильно разукрашенных фантазией Коша донесения — одно в Пльзен, крайнему гетману, другое в Прагу, барону фон Альбенрейту.

Сам Кош не отважился в этот день ехать в Кут. Он не без основания боялся, что ходы стерегут его на дороге.

Всё это время Ганка, дрожа, сидела в своей горнице и прижимала к себе детей. У неё нисколько не отлегло от сердца, когда шум и крики за воротами усадьбы сменились тишиной. Она помнила, с какой

досадой говорил всегда Козина о столкновениях и драках с панскими людьми. Что сказал бы он сегодня? Не повредит ли эта драка им в Праге? Что-то будет, что будет?

До сих пор и в Уезде, и всюду в ходском крае только и было разговоров, что о пражском суде. Вестей от выборных не ждали, так как все были уверены, что не позже как через две недели всё кончится и выборные сами вернутся домой.

Теперь появился новый предмет разговоров — происшествие с Кошем и его подручными. Всюду считали, что уездские и дражиновские ходы поступили законно и правильно. Они сопротивлялись насилию и требовали только то, что было у них похищено. И в то же время все были убеждены, что Ламмингер так это не спустит, а будет мстить. Но ни в Уезде, ни в Дражинове мести его не боялись. Все верили в пражское правосудие, в победу правого дела.

— Да и как не верить?.. Немцу, видно, туго пришлось на суде. Иначе он не стал бы снаряжать этот поход за письмами. Скоро царству его будет конец. Впрочем, более осторожные высказывали мнение, что он успеет ещё отомстить, прежде чем суд в Праге окончательно решит дело.

— Пусть попробует! — отвечал на такие речи Матвей Пшибек. — Мы себя в обиду не дадим. Хватит, больше молчать мы не будем. Я, правда, обещал Козине и Сыке, что буду сидеть смирно. Но кто начал?

И когда на третий день после столкновения из Кута явился посланный от Коша с требованием отпустить пуркраби, Матвей Пшибек только покачал головой.

— Ты принёс письма, что вы украли у нас? — спросил он.

— Пан управитель отослал их в Прагу, — ответил посланный.

— Ну, так и поворачивай оглобли!— отрезал Пшибек.

Посланный от имени Коша пригрозил, что в таком случае он придёт за пуркраби с солдагами.

Пшибек презрительно усмехнулся.

— Пусть тогда поторопится,— сказал он.

При разговоре присутствовали уездские старики, и весть о нём разнеслась по всему ходскому краю. Всюду были довольны ответом Пшибека, потому что всюду были озлоблены и возмущены новыми насилиями ненавистного немца.

Угроза не испугала Пшибека, но заставила быть осторожнее. По его настоянию, во все ходские деревни были отправлены посланные с сообщением о замыслах Коша и с предложением держаться наготове, чтобы немедленно притти на помощь, если где-нибудь произойдёт столкновение. В Уезде и Дражинове выставляли по ночам сторожевую охрану; да и днём несколько парней стояли всегда на пригорках и следили за полевыми тропами и за дорогами, особенно за дорогой из города, откуда скорее всего можно было ожидать опасности.

Стояли безоблачные, сухие дни. Жарко пылало солнце, и в знойных лучах его наливались соками густые хлеба. Но в Уезде не заметно было обычного в эту пору оживления. Замерло всякое веселье. Лица были сосредоточенные и хмурые. Все чувствовали, что надвигается гроза.

Даже весёлый вольничик Искра Жегурек не раскрывал рот для шуток. С тех пор, как появился на свет маленький Юрик, его прежней беззаботности как не бывало. Он боялся теперь за жену и за сына. Да и о Ганке, жене своего друга Козины, он вспоминал частенько. Что, если случится какая-нибудь беда? Дома одни только женщины, а хозяин... кто его знает, как он там в Праге... Искра больше не удивлялся, что Ганка так боится за мужа. Две недели

уже прошло, кончается уже и третья, а о выборных ни слуху, ни духу. Неужели так долго тянется суд? А тут ещё с этим Кошем! Правда, прошло уже пять дней после стычки, и пока — ничего. Авось, ничего и не будет. Может статься, что он только попусту грозил.

Так успокаивал Искра жену и слепого отца, сидя вместе с ними на крылечке. Был тёплый июльский вечер. Месяц заливал светом долины и горы. Дорла убаюкивала ребёнка на коленях и чувствовала себя почти счастливой; слова мужа рассивали её тревогу. Слепой старик, однако, с сомнением покачивал головой.

Кругом была полная тишина. Только в лесу слышался лёгкий шелест. На Градеке, над самой деревней, время от времени мелькало что-то белое.

— Видишь, Дорла, там на Градеке?

— Что это?

— Данила Больф. Караулит.

— Лучше, если бы этого не надо было, — вздохнула Дорла, и так как Юрик уснул, она встала, чтобы отнести его в люльку.

— Идите уж в дом, — позвала она мужчин.

Вскоре в доме волынщика всё спало крепким сном. Июльская ночь раскинула свой покров над Шумавским краем. Всюду была тишина, лишь изредка раздавался лай собак, да на склонах гор и вершинах холмов перекликались сторожевые.

Луна медленно клонилась к закату. Проснулся предутренний ветерок. На востоке, над чёрной громадой леса, побледнела полоса неба.

...Искра разом вскочил с постели и одним прыжком очутился у окна. Кто-то колотил в ставни и кричал:

— Вставайте!

— Кто там? Чего надо? — сердито крикнул потревоженный Искра.

— Вставай живее! Солдаты! Войско!

Голос умолк, и послышались быстро удаляющиеся шаги.

— Господи Иисусе!— прошептала Дорла и схватила ребёнка.

XXI

Грозная весть разбудила весь Уезд в ранний час предрассветных сумерек.

Она как громом поразила деревню, так как с каждым днём ходы всё более склонны были думать, что Кош просто пускал слова на ветер. Но оказалось, что он медлил, чтобы лучше подготовить удар и сделать его сильнее. Хорошо ещё, что, по совету Пшибека, они выставляли по ночам караульных.

В ту ночь Матвей Конопиков сторожил в поле. Незадолго до рассвета ему показалось, что он слышит со стороны города звук рожка. Он пошёл по дороге — проверить. Вскоре навстречу ему попался шедший из города путник, который сказал, что в город только что неожиданно нагрянули войска и что они собираются двигаться дальше.

Не успел караульный добежать до Уезда и всполошить спящую деревню, как появился посланный из города. Его направил в Уезд какой-то доброжелатель — предупредить ходов, что на них идут войска. Сомнений больше не оставалось. И как они могли подумать, что угроза Коша — только пустые слова! Ламмингер не был бы немцем, если бы не отомстил им за попытку отнять похищенные письма. Ясно — вызвал войска, чтобы разорить и ограбить их, авось будут смиреннее.

Первой мыслью у каждого было спасти, что можно. Испуганные, потерявшие голову женщины без толку хватили и сваливали в кучу перины, одежду, съестные припасы, посуду... Их вопли и жалобы слы-

шались в горницах, в кладовых, в хлевах, где они отвязывали скот.

Вся деревня была на ногах. Во дворах, на улице, на площади — всюду была суета, словно роились пчёлы в улье, всюду шум. С плачем детей, вырванных из объятий крепкого сна, и с причитаниями женщин смешивались громкие распоряжения мужчин, ржанье лошадей, мычание коров, лязг цепей, скрип телег, возгласы полуодетых парней и девушек.

А по дороге уже бежали те, у кого было не так много скарба или просто от страха зашёл ум за разум. Бежали с узлами в руках, с мешками на спине. Мальчуганы вели блеющих коз или с трудом тянули на веревке коров. Скотина пугалась и металась во все стороны. На дорогу высыпало стадо овец. Овцы мчались в облаке пыли за испуганным бараном, не обращая внимания на крики и брань пастуха.

— К Гамрам! В лес, к Гамрам!

Этот крик, как призыв, перекачивался по всей деревне от дома к дому. Никто не задавал себе вопрос, правильно это или нет. Все не раздумывая повиновались. Все спешили поскорее очутиться там внизу, у подножия Градека, в спасительной чаще леса, тянувшегося огромной дугой вокруг Гавловиц и пустынных Гамр. Старый лес чернел широкой полосой почти до самого города и стоял стеной вдоль границы с Баварией.

Больше других сохранил хладнокровие Матвей Пшибек. При первых же криках он вскочил с постели и быстро оделся. Старик-отец, давно уже не спавший, заохал на лежанке. Матвей, не слушая его, вышел разбудить дочь и помогавших ему в поле парней. Накинув на себя что попало, Манка выбежала из своей каморки. Матвей коротко объяснил ей, что случилось, и велел взять еду и приготовиться в дорогу. Затем он разыскал подпаса и дал ему

наказ слетать пулей в Дражинов и предупредить, что идут войска; пусть женщины с детьми бегут в лес, а мужчины спешат с чеканами в Уезд; если же они не проберутся в Уезд, пусть поворачивают к Гамрам.

После этого Пшибек велел одному из парней запрячь лошадей в телегу, посадить туда старика, взять с собой хлеба и ехать. Остальные пусть позаботятся о скотине. Всё это он проделал так быстро, распоряжения отдавал так точно и так решительно, что никто не успел даже испугаться. Подбодрённые его спокойствием, парни без всякой суеты и смятения управились со всеми делами.

А Пшибек был уже за деревней и вместе с соседями стоял на пригорке. Он посматривал то в сторону города, то вниз, в сторону Тавловиц. Небо только начало розоветь на востоке. Вокруг ещё всё было погружено в сон.

Лёгкий ветерок шевелил окроплённые росой зреющие колосья. Нигде не слышно было ни звука, нигде не заметно было движения. Ни малейшего признака войск.

— Они ещё в городе. Отдыхают перед тем, как выступить. Ну, и мы можем пока приготовиться,— сказал Пшибек.— Но кого-нибудь надо тут оставить на страже.

Он направился обратно в деревню и, переходя от дома к дому, кричал, что не надо терять головы, что солдат ещё не видно и всё надо делать с толком.

— А вы, парни, не бегите! Собирайтесь и идите за мной! Мы задержим солдат, чтобы наши спокойно могли уйти, чтобы их не перерезали, как овец. Живей, парни, живей! Покажем, что ещё есть настоящие ходы! Берите чеканы, дубины, а у кого есть — ружья, это лучше всего! Живей, живей!

Так покрикивал зычным голосом Матвей Пшибек.

Лицо его, обычно угрюмое и неподвижное, теперь оживилось. Глаза горели отвагой. Он шагал легко и быстро. Его голос заглушал суматоху.

— Живей, парни! — не умолкал Матвей. — За мной! Берите чеканы, ружья! Живей, ходы!

Только у одного дома не остановился Матвей. У дома Козины. Он знал, что там нет мужчин. Да, хозяина не было, а хозяйка была сама не своя от страха — не за себя, не за дом и добро, а за детей. При первой же тревоге Ганка побледнела, как мел, и схватила детей. Прижимая к себе Таналку и таща за руку Павлика, она кинулась на улицу, но старая Козиниха остановила её во дворе. Старуха сердито прикрикнула на невестку — можно ли так трусить! Несмотря на сопротивление Ганки, она заставила её собрать еду и самые необходимые вещи. Не переставая дрожать всем телом, Ганка в конце концов послушалась свекрови, но детей не отпускала от себя ни на шаг.

Сборами распорядилась старуха. Она нисколько не растерялась. Она прекрасно знала, что надо взять с собой. Но куда всё это деть? Кто понесёт? Где взять столько рук? Еду и детские вещи Ганка собиралась нести сама. Но что делать с остальным? И со скотиной?

Замирая от страха, Ганка торопилась поскорее покинуть дом. Старуха хотела спасти побольше добра и думала позвать кого-либо из соседей. Но какой помощи ждать от соседей, когда они не могли управиться и со своим добром? Что же делать? Бросить всё, а потом горевать и плакать?

Из хлева вывели лучших коров. Ганка стояла уже с детьми у ворот, как вдруг из-за угла показался Искра Жегурек с двумя огромными узлами за спиной и двумя козами на верёвке. За ним шла Дорла с ребёнком, ведя за руку слепого старика, который нёс вольтку и скрипку.

— Идём помочь вам! — крикнул Искра. — Не горюй, хозяйка! Время ещё есть!

Он передал свою ношу Дорле и стал запрягать лошадей. Ганка обрадовалась и горячо благодарила неожиданных помощников. Ловкие руки волынщика быстро справились с делом. Через несколько минут на телеге лежали перины, разная утварь, съестные припасы; туда же усадили старого Жегурека, Дорлу с младенцем, Павлика и Ганалку.

Телега медленно тронулась со двора. Рядом Ганка вела коз Искры. Сам Искра шёл сзади и гнал коров, мычавших и ревеливших в ответ на жалобное блеяние вынужденных па свободу овец. Взять их с собой было невозможно, а они точно чуяли, что остаются в добычу вечно голодным солдатам. Возле телеги надрывался от лая старый Волк, стараясь допрыгнуть до сидевших на перинах детей.

Пока шли сборы, старой Козинихе некогда было скорбеть о родном пепелище. Но когда они, как спугнутая дичь, покидали усадьбу, когда старуха уже стояла в воротах, сердце её болезненно сжалось. Она в последний раз окинула взглядом двор и постройки и невольно подняла руку, как бы прощаясь с ними и благословляя перед разлукой — да спасутся они от потока и разграбления...

В воздухе стоял неумолчный гул. Дорога была забита людьми, повозками, скотом. Местами создавались заторы, и телега Козин застревала в гуще. Люди кричали и понукали друг друга, собаки лаяли, скот метался, лошади становились на дыбы.

До площади подвигаться можно было только шагом. Дальше стало немного свободнее. Ходская деревня переродилась. Казалось, что вернулись старые времена. На площади собрались мужчины, парни и подростки постарше. Все были вооружены чеканами или дубинами, а многие — ружьями или пищалями. Немного в стороне двое парней стерегли пуркраби со

связанными руками; по приказанию Пшибека, заложника должны были взять с собой в лес. Пуркраби был бледен, как смерть; он ждал, что возмущённые ходы вот-вот разорвут его на части.

— Это всё из-за тебя!— кричали ему.

— Если у нас подожгут хоть одну крышу, ты будешь висеть на первой сосне, ломикаров холоп!

И пуркраби думал уже, что пришёл его конец, когда вооружённая толпа вдруг разразилась громкими криками. Это ходы встречали своего предводителя, Матвея Пшибека. Вернее— не столько его, сколько то, что он нёс. В руках Матвея было древко старого ходского знамени, которое он спас из тргановского замка, когда были сожжены грамоты. Он заботливо хранил его,— лучше, чем тргановский управитель в замке,— и теперь, в решительную минуту, скрепил верёвками надломленное место, привязал к древку белое полотнище, окаймлённое чёрными лентами, и поднял знамя над головой. Это было знамя ходских цветов, хотя и без герба, простое и скромное. Ходы восторженно приветствовали его как символ былой силы и славы. И истине было на что посмотреть, когда на площади показалась исполинская фигура последнего ходского знаменосца с гордо развевающимся знаменем!

Телега Козин как раз проезжала мимо, и они видели, как Пшибек, на время поручив знамя одному из парней, стал отдавать приказания. Пуркраби повели вслед за бегущими. Один из подростков со всех ног помчался в Дражинов. Несколько парней отправились по направлению к городу, несколько— к Гавловицам. После этого Пшибек занялся бегущими, стараясь водворить порядок, помочь всем вовремя выбраться и спасти побольше добра. Он распорядился, приказывал, а где надо было— шумел и гремел. В руке его блистал старый дубовый чекан

рода Пшибеков. Ему повиновались с первого слова, как признанному вождю.

За деревней поток бегущих двигался значительно свободнее. Он разбился на множество отдельных ручейков и ручьёв. Каждый искал кратчайшего пути, а кроме того, дороги и тропы не вмещали всех. Лучше всего было тем, кто нёс с собой только узлы. Труднее приходилось тем, кто вёл скотину. То у одного, то у другого вырывалась корова и в испуге носилась по лугу и по ржаным полям.

Да и люди не придерживались дорог. Спешка заводила их в густую золотистую рожь, и клонились к земле надломленные и растоптанные хлеба...

На востоке алела заря. Над лесами в бледно-голубом небе разрасталась огненно-яркая полоса. Пурпурные облачка светлели на бегу, сияя живым расплавленным золотом. И когда из этого моря огня и света вынырнуло солнце, уездские беглецы были уже у Гамр, где их принял под свою охрану дремучий лес.

Поток остановился, но не успокоился, а вскоре набежала новая волна — из Дражинова. Дражиновские мужчины были все вооружены.

Лес огласился тысячью звуков. Люди, оторвавшиеся в пути от своих, разыскивали друг друга. Старшие выбирали подходящее местечко для своего семейства. Дети плакали. Скот, привязанный к деревьям, ощипывал кору и листья молодой поросли. На опушке сбились беспорядочной кучей телеги, с которых снимали стариков, больных, детей и домашний скарб. Лесные поляны были ещё погружены в тень, но холмы и пригорки утопали уже в лучах солнца, и беглецы отчётливо видели, как на склоне Градека ослепительно засверкала сталь.

Это спускался к Гамрам отряд Пшибека. Он оставался в опустевшей деревне, пока не покажа-

лись войска. С приближением войск Пшибек решил отступить, чтобы отряд не оказался отрезанным от укрывшихся в лесу: дорога из города проходила как раз по долине, отделявшей Градек от Гамр и раскинувшихся за Гамрами лесов.

Наверху, недалеко от Уезда, рожок протрубил сигнал повторенный барабанами. Утренний ветерок разносил эти звуки по всей долине, но пока ещё ничего не было видно. Вскоре, однако, по сухой, твёрдой дороге, ведущей низом из Гавловиц, зазвенели подковы, и тотчас же на солнце сверкнуло оружие. Конница! Императорские кирасиры! Они мчались во весь опор, но отряд Пшибека успел пересечь дорогу и уже подходил к Гамрам. Заметив это, кирасиры остановились.

Рассыпавшись на небольшие группы, они опоясали цепью гору, на склоне которой лепился Уезд. Сквозь эту цепь мудрено было бы прорваться из Гамр домой. Впрочем, ходы об этом и не помышляли, хотя все взоры и были прикованы к деревне. Там наверху снова блеснуло оружие. Это пехота выставила дозоры.

Пехотинцы уже расположились в деревне, часть которой была отлично видна из Гамр. «Да, похозяйничают... Сколько добра осталось!.. Чего не растащат, то уничтожат...» — думали ходы и с замираньем сердца следили, не покажется ли над домами облако дыма, не вырвутся ли красные языки пламени... Но небо продолжало оставаться голубым и безоблачным.

Несколько деревянных построек на небольшом пригорке над быстрым ручьём — таковы были Гамры. Но с этого пригорка открывался вид на Черхов и на других великанов Чешского Леса и Шумава. Ходы наблюдали за всеми вздымающимися вокруг вершинами и за занятой кирасирами дорогой, стараясь подметить малейшее движение. Мужчины сжимали

в руках оружие. Они не были испуганы, но кипели от возмущения и ненависти к злобному немцу.

Это он! Он подговорил своего друга и приятеля, краевого гетмана, учинить над ними суд и расправу. Сам не смог, так пусть придут войска и разорят их до тла! Ему что? Пусть станут нищими, лишь бы обратить их в крепостных. И всё это — сейчас, когда при дворе велели разобрать их жалобы!

Он хочет запугать их, чтобы они приползли к нему просить прощения! О нет, пан Ломикар, стреляй сколько хочешь, этого ходы не сделают! И ты ещё ответишь за всё! За вызов войск и за пролитую кровь. При дворе, наверное, понятия не имеют о том, что тут делается. Разве император послал бы против ходов войска? Что они сделали? В нём провинились? В том, что не хотели, чтобы этот проклятый Кош их ограбил? Нет, нет, они не сдадутся, хотя бы их перестреляли всех до единого!

Вооружённые мужчины собрались в одном из дворов, у колодца под старой грушей. Там было воткнуто в землю ходское знамя. Все были озлоблены и полны решимости. Матвей Пшибек говорил мало, а только одобрительно кивал головой, слушая разговоры других. Но зато он знал, что надо делать. По его предложению, вверх и вниз от Гамр были разсланы патрули из двух-трех вооружённых ружьями парней для наблюдения за войсками. Одновременно по лесным тропинкам в окрестные деревни поспешили гонцы за подмогой — пусть все мужчины явятся поскорее с оружием в руках.

Солнце ещё не успело подняться над лесом, как человек двадцать пришло из соседнего Стража. К полудню подоспели тлумачевские и медаковские. Дорога от них шла лесом и была свободна. А вскоре после полудня пришли окольными путями люди из Ходова, Постшекова и Кленеча.

Матвей Пшибек облегчённо вздохнул.

Он всё время боялся только одного: как бы войска не напали на них сразу без промедления. С теми силами, что были у них утром, они бы не могли дать отпор. Но когда уже к полудню собралось до двухсот вооружённых мужчин, тучи, омрачавшие лицо Матвея, рассеялись. Под вечер в отряде было уже больше трёхсот человек, а люди всё прибывали. Перед самым заходом солнца подошли кичевские, а когда Пшибек направился в лес взглянуть, как устраиваются на ночлег расположившиеся табором беглецы, навстречу ему выехало несколько всадников с ружьями. Впереди ехал молодой Шерловский. Соскочив с лошади, он поспешил сообщить, что остальные мужчины из Поциповиц и Льготы, все хорошо вооружённые, явятся ещё сегодня. Они не успели притти днём, так как послашые добрались до них только недавно.

Шерловский ещё не кончил рассказ, как у самых Гамр протрубил рожок, и через минуту прибежал парень из патруля и сообщил, что императорский офицер желает пройти к ходам и переговорить со стариками.

— О чём?— спросил Пшибек.— Знаем мы, что он может сказать: идите домой и просите прощения...

А потом выходите на барщину,— насмешливо добавил старик Брейха из Постшекова.

— Не стоит и говорить с ним,— высказал своё мнение Пшибек.

Но другие не хотели отрезать себе путь к переговорам.

Решили офицера в Гамры не пускать, а самим пойти ему навстречу. Представители ходов, в сопровождении двадцати хорошо вооружённых парней, вышли на луг, где у ходского сторожевого поста ожидал офицер с трубачом.

От имени краевого гетмана он потребовал, чтобы ходы прежде всего выдали пуркраби, а затем разо-

шлись по деревням и беспрекословно повиновались своим законным господам.

Негодующие возгласы не дали ему договорить. С трудом он снова добился слова и стал доказывать, что ходы бессильны против войск, и не стоит напрасно проливать кровь и подвергать опасности всё своё достояние.

— За этим не стоило ходить к нам! — побагровев, крикнул Пшибек. — Мы хорошо знаем, для кого вы стараетесь! Мы подданные нашего короля, а не Ломикара, а если вы хотите перебить нас в угоду этому живодёру, то мы не боимся. Мы будем защищаться!

Горячее одобрение вооружённой толпы показало офицеру, что это мнение разделяется всеми. Ему больше ничего не оставалось, как уйти.

Главные силы ходов сосредоточились в Гамрах. Молодёжь разошлась на ночь в усиленные дозоры. Отдельные смельчаки, знавшие в этих местах каждый кустик, пробирались далеко вперёд, чтобы от них не ускользнули малейшие приготовления неприятеля.

Но войска, заняв Уезд, не продвигались дальше. Лишь на окраине деревни и выше, на Градеке, по-прежнему виднелись часовые, да на большой дороге внизу разъезжали кирасиры.

Сумерки сгущались. На почерневшем небе зажигались звёзды. Стояла тихая летняя ночь. Каждый звук отчётливо разносился кругом — и топот лошадей на нижней дороге, и глухое мычание коров в лесу. Время от времени слышались голоса перекликавшихся часовых.

На опушке зеленевского леса за Гамрами, на вереске и мху лежали ходы в белых жупанах; чеканы были у них под рукой, ружья прислонены к деревьям. Это была растянувшаяся длинной цепью охрана, главная задача которой была оберегать лес

и укрывшихся в нём беглецов. Хотя с этой стороны едва ли можно было ждать нападения, всё же никто из охраны даже на миг не вздремнул. Ходы либо молча поглядывали вверх — туда, где стоял Уезд, либо вполголоса разговаривали между собой.

Зато дальше, в лесной чаще, раздавались громкие голоса. Сквозь кусты и деревья пробивались красные отблески пылающих костров, вокруг которых, точно вокруг домашних очагов, собирались беглецы — родственники, друзья или совсем чужие, где как пришлось. Общая беда сблизила всех. За день успели построить много шалашей из ветвей и хвороста для ребятишек и стариков. Кому нехватило места в шалашах, довольствовались перинами или мешками с зерном. На этих постелях возились ребятишки или сидели, понурив голову, старики и больные. Наибольшее оживление господствовало на старом «огнище» — поляне, где когда-то обжигали уголь. Здесь горело особенно много костров и собралось особенно много хозяек. Они стряпали нехитрую еду, кормили или баюкали детей. Ребята шалили, для них всё происходящее было только развлечением. Мужчин здесь почти не было; они были в Гамрах или находились в карауле. Только сменявшиеся с поста забегали сюда взглянуть на своих и наскоро поужинать.

В стороне, под огромным буком, сидел у костра старый Пшибек. Голова его низко склонилась на грудь. Казалось, он дремлет. Но едва неподалеку под чьей-то ногой хрустнул хворост, как старик тотчас же поднял голову. Подошёл Матвей. С ним был молодой Шерловский. Старик узнал его и протянул свою высохшую руку.

— Вот, парень, где довелось нам свидеться!.. — сказал он. — Недаром я всё время говорил вам: комета... Дай бог, чтоб добром кончилось! Теперь можешь видеть, как бывало в старину, когда наши

деды проводили в лесах дни и ночи. Только тогда они получили за это свои вольности, а сейчас..!

— Где Манка? — прервал Матвей рассуждения старика.

— Пошла взглянуть на коров.

Завидев Матвея, к костру подошло несколько мужчин. Заговорили о неприятеле, удивляясь, что войска не напали на них ещё сегодня.

— Они видели, что их меньше, — сказал Матвей.

— А сколько их будет?

— Человек двести, не больше, говорили парни. А нас с поциновицкими будет вдвое.

Объяснение Матвея показалось всем убедительным. А кроме того, ходы были уверены, что войска против них посланы без ведома высших властей, что всё это подстроил Ламмингер, чтобы солдаты разграбили и разорили деревню. Они ни за что не поверили бы, если бы кто-нибудь сказал им, что краевой гетман действует по приказу из Праги и что ему предложено только по мере возможности избегать кровопролития.

Матвею пора было возвращаться в Гамры. Шерловский исчез ещё раньше. Он отправился на розыски Манки.

Скот был согнан в поросшую густой травой ложбину. Там его стерегли девушки и подростки. Манка возвращалась из ложбины к «огнищу» с парным молоком, когда из-за деревьев показался Шерловский. Она сразу узнала его при мигающем свете костров. Поспешно поставив молоко на землю, она радостно окликнула его. Он бросился к ней, прыгая, как молодой олень.

— Ты тут?

— Уже давно. И всё время ищу тебя. Да... никогда не думал, что ты будешь шляться по ночам, — пошутил парень.

— И я тоже. Господи! Что-то будет!

— Что же будет? Будем защищаться.

— Ну, не сдаваться же! — мужественно ответила Манка. — Но сколько бед, сколько бед! И как раз перед страдой...

— И перед нашей свадьбой...

— Да, — вздохнула девушка, но тотчас же добавила. — Ну, со свадьбой ещё можно подождать. Лишь бы всё кончилось благополучно, лишь бы разделаться с Ломикаром. Я согласна ждать хоть до весны, хоть целый год, лишь бы не было больше немца. Сама пошла бы с вами! Так бы его и пристрелила!

Они медленно приближались к «огнищу». Их остановили внезапно раздавшиеся с той стороны возгласы и громкий говор многих мужских голосов, разносимый гулким эхом по дремлющей чаще.

— Это наши! Поциновицкие и льготские! — воскликнул Шерловский.

Он не ошибся. Подойдя ближе, они увидели толпу мужчин в широких плащах, вооружённых по большей части ружьями. Их было человек пятьдесят — все высокие, крепкие, как на подбор. Они только что пришли и усаживались вокруг костров.

— Я ещё приду! — шепнул Шерловский, расставаясь с Манкой.

В это самое время Ганка, сидя на краю «огнища» под елями, успокаивала Ганалку, разбуженную громкими приветствиями, встретившими подмогу из Поциновиц. Зато Павлик даже не пошевелился. Семейство Искры, расположившееся на почлег тут же рядом, тоже спало крепким сном. Сам Искра был где-то с остальными мужчинами.

Ганка покачивала девочку на коленях и тихонько напевала колыбельную песенку. Но самой ей хотелось плакать от этой песенки. Она вспоминала, как, бывало, они вместе с мужем укладывали детей и сидели вдвоём подле них. А теперь — как цыгане на

кочевье... Но это бы ещё ничего. Был бы он с ними! Тогда всё ничего. Где-то он сейчас, что он делает? Когда, наконец, вернётся?

XXII

Минула первая ночь. Сторожевые ни на минуту не смыкали глаз. Но в лагере противника не замечалось никакого движения. То же было и на следующий день. Беглецы приободрились. Страшнее всего было вчера ранним утром. Но теперь самое страшное миновало. Тяготившее всех опасение оказалось напрасным. Уезд цел и невредим. А в лесу летом не так уж плохо. Еды они захватили с собой на несколько дней, и все помогали друг другу. Да и соседние деревни не забывали о них. Из Стража, из Тлумачева, из Ходова им приносили всё, что можно.

Но мужчины были всё же в недоумении: почему их оставляют в покое? Не хотят ли взять их измором, рассчитывая, что нужда и голод заставят их разойтись, и уездские ходы тоже вернутся к себе и будут просить помилования? Ну, это не так-то просто! Ходы смеялись, высчитывая, сколько пройдёт времени, пока они съедят весь укрытый в лесу скот.

Но Матвей Пшибек не переставал призывать к осторожности. Он говорил, что войска могут напасть совершенно неожиданно и надо с удвоенной бдительностью следить за врагом. Лоб его снова избороздили морщины. Он понимал, что со всей массой беглецов очень трудно будет отсиживаться. Многие, особенно из дальних, начнут скоро подумывать о доме.

Впрочем, к вечеру он опять немного повеселел. К ходам вторично явился офицер с предложением

сдаться. Предложение было опять единодушно отвергнуто.

Наступил третий день жизни в лесу с оружием в руках, лицом к лицу с неприятелем. В Гамрах, во дворе около знамени, собрались старосты и наиболее уважаемые люди ходских деревень. Не было только тех, которые задержались в Праге в апелляционном суде, как думали ходы, не подозревавшие, куда попали их выборные. Над лесом собиралась гроза, чёрные тучи постепенно заволакивали всё небо. Но собравшиеся не замечали, как шумят ветви старой груши, как полощется их белое знамя. Они рассуждали о том, что будут делать дальше войска.

Матвей Пшибек стоял, прислонившись к стволу. Он был погружён в свои мысли, но сразу очнулся и вздрогнул, когда стражский Конопик сказал, что те там,— он указал в сторону Уезда,— не двигаются, потому что ждут подкрепления. Это было мнение самого Матвея.

— И ты боишься этого? — резко спросил он Конопика.

— Бояться не боюсь, но если их будет что саранчи...

— Тогда у тебя зачесутся пятки?..— и Пшибек презрительно засмеялся.

Конопик покраснел и хотел что-то ответить, но в это время за воротами послышались громкие возгласы. Ходы вскакивали с земли, сбегались со всех сторон. Все толпились вокруг какого-то человека. Это не был чужой: среди белых ходских жупанов не виднелось никакого подозрительного пятна.

Старики, совещающиеся у колодца, повернули головы к калитке. Некоторые направились к забору поглядеть. И вдруг все разом закричали:

— Брыхта! Постшековский Брыхта!

Следом за Брыхтой во двор вбежала целая толпа постшековских.

— Так вы воевать решили? — кричал Брыхта, размахивая чеканом. — Ну, будем драться, — и он стал здороваться.

— Где остальные? — дёргали его со всех сторон.

— Идут.

— Вот они! Пайдар! И Сыка!

— Прокуратор!

— Из Праги?

Прошло несколько времени, пока волнение улеглось. Кто бы мог ожидать? Все думали, что они в Праге, а они вдруг, словно из-под земли выросли.

Вопросы сыпались, как из рога изобилия.

— Как вы добрались сюда? Вы знали, что у нас делается?

Выборные рассказали, что они пробирались окольными путями, всё время лесом, и что о событиях в Уезде они слышали ещё в Праге.

— Что с кутским пуркраби? — спросил Сыка.

Вокруг засмеялись. Пуркраби тут недалеко, за «огнищем», — объяснили ходы, — жив и здоров, только дрожит от страха.

— Значит, его не убили? — удивился Сыка.

— И других не убивали тоже? — спросил Пайдар.

Очередь удивляться была теперь за остальными. Ну, и слухи распустили о них! Сыка облегчённо вздохнул, когда оказалось, что всё это выдумки.

— А где же ещё наши? Грубый? Козина? — продолжались расспросы.

Издали донеслись глухие раскаты грома. Но если бы гром ударил вдруг среди ясного неба, ходы не были бы так поражены, как сейчас, когда Сыка коротко рассказал, что происходило в Праге на суде. Одни точно окаменели, не в силах произнести ни слова; они чувствовали, что всё потеряно. Другие кричали, потрясённые и возмущённые творимым над ними беззаконием. Многие предлагали не ждать, а двинуться против немцев и отомстить за новое на-

силе и новый обман. Матвей Пшибек мрачно уставился на Сыку, выжидая, что скажет он.

— Люди добрые! Опомнитесь! Ещё хуже будет! — взывал Сыка.

— Почему ты думаешь? — спросили одновременно несколько стариков, напуганных рассказом Сыки.

— Да как же! Посудите сами! Грамоты уничтожили и объявили, что никакие жалобы не помогут. Бросили наших в тюрьму. А здесь войска, вооружённые с головы до ног... А у нас какое оружие?.. И помощи ждать нам неоткуда. Не думайте, что я боюсь. Но я хочу спасти, что можно. Иначе что ж? Прольётся кровь, и если сегодня мы ещё удержимся, то завтра...

— Молчи ты, прокуратор проклятый! Иуда! — загремел Матвей Пшибек.

Он выпрямился во весь свой огромный рост и шагнул к приземистому «прокуратору». Сочувственные возгласы со всех сторон поддержали его бурную вспышку, и особенно выделялся голос Брыхты. Но и Сыка не остался без поддержки. Как раз наиболее уважаемые люди из Кленеча, Ходова, Постшекова, Стража, Кичева, Тлумачева и Медакова стояли на его стороне и всячески старались унять решительно настроенную часть собравшихся — это были главным образом уездские и дражиновские ходы, а также многие из Льготы и Пюциновиц.

— Что его слушать! — продолжал убеждать Сыка. — Кто виноват во всём, как не ты, Матвей?

— Тебе надо, чтобы наши дома сожгли, чтобы нас перебили всех с жёнами и детьми? — кричал кленечский Буршик.

— Пусть жгут, пусть убивают! — гремел в ответ Пшибек. — Но живым я не дамся! Лучше пусть меня убьют, чем стать подъярёмной скотиной! А вы трусливые бабы, а не ходы!

В Гамрах поднялась невообразимая сумятица. Ходы

спорили и кричали. Надо итти с повинной, говорили одни; надо драться, утверждали другие. Последних было меньше. Во главе их стоял Матвей Пшибек, а вместе с ним боязливых миролюбцев горячо отличали пылкий Брыхта и молодой Шерловский. Все были так возбуждены, шум и гам был такой, что никто не слышал предупреждающих возгласов караульных, которые что-то кричали и указывали в сторону Уезда.

И вдруг буря в Гамрах разом утихла. Раздался оглушительный выстрел. За ним другой, третий... По лесу прокатился грохот пушечной пальбы. Да, пушечной! Смотрите, вон там — три пушки! Их втащили на гору над Уездом и навели прямо на Гамры. Белые дымки, клубясь, сползали по склону. И там же на горе множество войска. Часть солдат ровным шагом уже спускается в долину. А на нижней дороге — кирасиры, гораздо больше, чем прежде. Вся местность так и кишит войсками! Прибыли подкрепления! Ходы стояли поражённые и растерянно глядели на передвижения неприятельских сил.

— Ну, и вы ещё хотите воевать? — спросил Сыка, указывая на готовившихся к нападению солдат.

— Молчи, ты! — крикнул Пшибек. — Хватит, наслушались! Прочь, трусы! Кто настоящий ход, за мной!

Однако многие из его прежних сторонников отступились и даже пробовали удержать сплотившихся вокруг него ходов.

— Не слушайте этих трусов! — кричал молодой Шерловский. — Пусть идут кланяться! С нами идите, с нами! Мы хоть сумеем постоять за себя...

— В Поциновцы! Идём в Поциновицы!

Тем временем на «огнище» беглецы озабоченно поглядывали на затянутое тучами небо. В лесу стемнело. Порывистый ветер гудел в ветвях, предвещая грозу. Беглецы спешили заранее укрыться от цеё, це

подозревая, что над ними готова разразиться совсем иная гроза. И в самый разгар суеты из Гамр при-мчался запыхавшийся подросток и ещё издали громко закричал, что вернулись выборные из Праги — Сыка, Пайдар и Брыхта, а остальных нет, потому что их посадили в Праге в тюрьму.

Душераздирающий крик огласил лесную чащу.

Ганка Козина рыдала, ломая руки. Женщины об-ступили её, пробуя как-нибудь успокоить.

— Где Сыка? — спросила старая Козиниха под-ростка. Она не плакала, но лицо её покрылось мертвенной бледностью. Мальчик указал в сторону Гамр. Она побежала туда. Но на опушке она остано-вилась: навстречу ей из Гамр двигалась толпа во-оружённых мужчин. Впереди шли Матвей Пшибек, постшековский Брыхта и молодой Шерловский из Поциновиц. Над головами их развевалось белое ход-ское знамя. Остальные мужчины ещё были в Гамрах. Они метались во все стороны, собирались в кучки, глядели на гору и прислушивались к звукам рожка и барабанной дроби.

От шедшей за Пшибеком мужской толпы отделился Искра Жегурек и подбежал к Козинихе.

— Плохо дело! Столько войска! А наши там хотят итти с повинной...

Старуха всплеснула руками.

— А Пшибек?

Волынщик объяснил, что Пшибек со своей дружи-ной отступает к Поциновицам.

— А Ян в тюрьме?

Искра молча кивнул головой.

— А вы, бабы, хотите кланяться, и умолять? — воскликнула старуха и погрозила кулаком в сторону Гамр.

Из Гамр действительно уже отправили нескольких человек к краевому гетману, только что получившему подкрепления: три орудия, роту гренадер и большой

отряд кавалерии и пехоты под начальством графа Штамбаха и Штейнбаха фон Кенигсфельд.

Между тем дружина Пшибека дошла уже до «огнища». Страх и смятение овладели беглецами, когда они узнали, что происходит. Женщины плакали и кидались на шею мужьям, упрашивая их не уходить в Поциновицы, и тут же кричали, что надо уйти, но только чтобы мужья не оставляли их здесь, а взяли с собой. Ганка не видела и не слышала ничего. Она сидела под деревом у костра и прижимала к себе детей. Да, так... За решёткой, в тюрьме! Зачем он взялся за это? Предчувствие не обмануло её... Он не вернётся больше, она это знает... Дети, бедные дети!..

XXIII

Хлынул дождь. Гремел гром, небо прорезывали ослепительные молнии. Испарения, поднимавшиеся над Шумавскими лесами, видись белыми клубами, точно дым бесчисленных пожаров.

По лесным тропам и размытым просёлочным дорогам дружина Пшибека отступала к Поциновицам. В дружине осталось немногим более ста человек, но зато это были самые отважные и самые боеспособные из ходов. Дружина была разделена на два отряда, между которыми двигался обоз — телеги с женщинами, детьми и стариками, которых отступающие не захотели оставить в лесу. На одной из телег сидели старый Пшибек и Манка. Матвей считал, что они могли бы переждать на «огнище», так как в Поциновицах будет, вероятно, жаркое дело, но старик и слышать об этом не хотел, а Манка горячо поддерживала деда.

— Чтобы я на старости лет на коленях ползал? — возмутился старик и взобрался на телегу. Ветер трепал его длинные волосы, дождь хлестал по лицу,

но старый ход ничего не чувствовал. Устремив вперёд неподвижный взор, он сидел, как каменное изваяние, весь уйдя в свои мысли.

Матвей нёс на плече ходское знамя — измокшее, повисшее, как жгут. Он невольно вспомнил, как бодро развевалось оно сегодня утром. Да, утром отваги у всех было хоть отбавляй, а потом пришёл Сыка со своими новостями и окатил их холодной водой, и они раскисли, как бабы. Пожалуй, им уже пришлось пожалеть...

Уже стемнело, когда дружина с обозом подошла к Поциновицам. Дождь прекратился, но небо не прояснялось. Тяжёлые тучи попрежнему висели над горами, ограждавшими Поциновицы, как крепостной вал. Скрылись во мраке вершины Гавроницы, Плапольца, Гудицы и Голого Верха. Не видны были и вздымавшиеся позади «Девичьи груди» и другие Шумавские великаны.

После всех пережитых волнений и после утомительного перехода по непролазной грязи сухие, тёплые и, главное, гостеприимные поциновицкие домики показались всем особенно приветливыми. Большинство вновь прибывших не чувствовали под собою ног от усталости и, даже не успев поестъ как следует, сразу завалились спать. Но в доме Шерловского, где собрались люди постарше, долго ещё горел огонь.

Было уже за полночь, когда Матвей Пшибек вышел с молодым Шерловским проверить расставленные за деревней караулы. А задолго до рассвета он был опять на ногах и будил своих дружинников идти рубить засеки и заваливать все подступы к деревне: дороги, тропы и проходы между гумнами. Ещё не вся деревня проснулась, ещё не все приготовления были закончены, когда в Поциновицы неожиданно явились несколько насквозь промокших и забрызганных грязью крестьян из Ходова и Постшекова. Они принесли потрясающие вести.

Вчера они соглашались, что упорствовать дальше не стоит, что не остаётся ничего другого, как сдаться. А сейчас они рассказывали обступившим их густой толпойходам, как обошёлся с ними краевой гетман. Когда к нему пришли посланные и обещали спокойно разойтись по домам, если войска не тронут их добра и уйдут из деревни, гетман накричал на них и велел арестовать. Солдаты сейчас же окружили их и увели. Мало того, гетман арестовал ещё по несколько человек из каждой деревни, — их тоже увели со связанными руками.

— Куда? — слышалось с разных сторон.

— В Пльзен, Стшибро, Тын..

— А что? Разве в Пльзене нехватает тюрем? — спросил старый Шерловский.

— Да ведь их набралось человек семьдесят! — ответил один из постшековских.

— Ну, а мы, как увидели такое дело, решили дать тягу, — продолжал рассказывать другой. — Лучше пулю в грудь получить, чем сидеть в тюрьме. Чтоб меня там пытали, а потом вздёрнули на виселицу? Хороша милость! Это за то, что мы покорились..

— Теперь, небось, жалеют, что не пошли в Поциновицы! — воскликнул кто-то.

— Да, тогда нас было бы сотни четыре, — заметил Пшибек. — А где теперь войска?

— Во всех деревнях понемногу, а Уезд облепили, как мухи. И, должно быть, останутся, чтобы держать народ в страхе.

— А что наши в лесу?

— Женщины плачут. Как тут не плакать! Мужей забирают, дома солдаты. И мужчин ещё много в лесу. Разбегутся, наверное, по чужим краям.

— Ну, так как же? Стоило нам оставаться? — воскликнул Пшибек.

Беседа продолжалась в доме старосты. Когда все собирались уже расходиться, в горницу вбежал один

из караульных: со стороны Лучина Юн заметил приближающиеся войска. Это не было неожиданностью, все знали, что этого не миновать, и всё же для многих эта весть была как удар.

— С нами бог, ходы!— воскликнул старый Шерловский.

— За мной! Скорее!— крикнул Пшибек и выбежал из горницы. Все бросились за ним.

Несмотря на ранний час, вся деревня была на ногах. Весть о приближении войск разнеслась повсюду с быстротой молнии. Из домов выбегали мужчины и женщины, старики и подростки. Деревенская площадь была полна народу. Подошли и выстроились мужчины, вооружённые чекапами и ружьями. Впереди всех стоял Пшибек со знаменем в руках. За ночь небо расчистилось, день обещал быть ясным и тёплым. Знамя снова уверенно развевалось на ветру.

— Идут войска!— раздался громовой голос Пшибека.— Идут хватать мужчин и насиловать женщин. Пусть, кто хочет, — сдаётся. Но мы, уездские и дражиновские, мы не сдадимся!

— Мы тоже. Мы тоже!— ответил ему общий крик, и в этом хоре звенело немало женских голосов.

— Так, с божьей помощью, все по местам!— скомандовал Пшибек.

— Женщины и дети, разойдитесь!— закричал старый Шерловский.— И приготовьте всё в дорогу! Если будет плохо — задами в лес!

Площадь загудела и вдруг разом стихла. Невдалеке послышался барабанный бой и резкий звук рожка. Толпа застыла на месте. Пшибек, однако, не растерялся. Он крикнул, чтобы его подождали, и кинулся к заваленному брёвнами въезду в деревню. Оба Шерловских и многие из поциновицких поспешили за ним. Они увидели между деревьями сверкавшее на солнце оружие. С первого же взгляда им

стало ясно, что против них двинуты немалые силы. Войска оцепляли деревню и уже заняли дорогу. По всем направлениям разъезжали кавалеристы. Громкие приказания летели от взвода к взводу и доносились до самой деревни.

К цепи прибавлялись всё новые звенья, кольцо всё туже стягивалось вокруг лежащих в долине Поциновиц.

Пшибек вздрогнул. Несколько всадников мчалось прямо к ним. Они остановились перед завалом, и один из них обратился с речью к стоявшим здесьходам. Шерловский и Пшибек передали потом ожидавшей на площади толпе всё, что он сказал, кроме одного: они умолчали о том, что льготские крестьяне тоже сдались уже на милость начальства.

Вот чего требовали от ходов: деревня должна немедленно покориться и убрать все заграждения; мужчины должны сдать оружие; все ходы, не принадлежащие к числу местных жителей, должны быть выданы военным властям, в частности, должен быть немедленно выдан крестьянин Матвей Пшибек из Уезда; в виде ручательства за исполнение, к военным властям должен тотчас же явиться староста с двадцатью другими крестьянами и принести повинную.

— Чтобы их посадили в тюрьму! — крикнул один из поциновицких.

— И повесили как бунтовщиков! — добавил другой.

— Я не пойду! — твёрдо объявил староста Шерловский.

— И я не пойду! И я! И я! — наперебой кричали поциновицкие. В гул мужских голосов врвались звонкие голоса женщин: нет, они не пустят мужей итти и сдаваться!

— А ведь нас окружили! Мы в мешке!

— Пробьёмся!

— За мной! — скомандовал Пшибек.

Площадь пришла в движение. Женщины то горестно причитали, то страстно убеждали мужчин не сдаваться. Но в этих убеждениях не было никакой нужды. Весть об участии, постигшей ходов, сдавшихся под Уездом, и требования, предъявленные поциновицким ходам, наполнили всех решимостью отчаяния. Лучше погибнуть, чем отдаться в руки мучителей.

Матвей Пшибек видел, что войск много, и понимал, что устоять против них не удастся. Оставалось только одно: попробовать пробиться. Он повёл поэтому ходов к тому краю деревни, откуда было ближе к лесу; цепь солдат с той стороны тоже была как будто реже. Некоторые предлагали выждать до наступления темноты. Но такой план никуда не годился, так как военные власти дали ходам очень короткий срок для ответа, а по истечении срока войска, очевидно, двинутся на приступ. Медлить было нельзя.

— Кто может, садитесь на коней,— сказал Пшибек.— Ударим на них оттуда.

Он указал на два огромных амбара. Пшибек видел, что войска стягивались к выходам из деревни и стерегли проходы между домами, вылазки же с этой стороны они, повидимому, не ожидали. Отсюда можно будет ударить на них врасплох.

Дружина подошла к амбарам. Началось прощание. Оно было очень коротким. Матвей Пшибек оглянулся на дочь. Бледная и дрожащая, она шла за ним по пятам, рядом с ней шагал её дед, которого никакими силами нельзя было удержать в деревне.

— Прощай, отец! Прощай, Манка! Авось, ещё увидимся. А если нет... смотри, дочка, хорошенько за дедом... да пошлёт вам бог...

Слегка побледнев, он сделал движение, готовясь уйти.

Старик поднял руку, благословляя сына. Пшибек оглянулся ещё раз и скрылся в передних рядах.

Только белое знамя виднелось над головами идущих, пока он не склонил его, когда входил в ворота амбара.

Манка, не отрываясь, глядела вслед уходящим. Глаза её были полны слёз. В это мгновение кто-то тронул её за плечо. Это был Шерловский, ходивший за лошадьё. Манка заплакала навзрыд. Он обнял её и крепко поцеловал прямо в губы, затем взял за узду своего Беляка и тоже прошёл в амбар.

Здесь в переднем ряду уже стояло несколько ходов с лошадьёми, а за ними выстроились пешие. В соседнем амбаре приготовления тоже были закончены. Все ждали, пока, по знаку Пшибека, распахнутся вторые ворота, ведущие в поле.

Солнце уже взошло. Яркие лучи, проникая в широкие щели между доскамп, прорезали царивший в амбарах сумрак мерцающими полосами золотистого света, скользили по гладким, лоснящимся крупам лошадей, по грубым деревенским сёдлам, играли на белых жупанах ходов, дрожали на побледневших лицах. Ходы ждали. Глаза у всех пылали лихорадочным огнём, сердце учащённо билось, все сжимали оружие в руках и были готовы встретить смерть.

У ворот стоял Пшибек и, нагнувшись, наблюдал в щель за войсками. Вдруг он выпрямился, повернулся к конным и дал им знак садиться в сёдла. Затем пожал руку молодому Шерловскому, что-то тихонько сказал ему и пошёл по рядам, ещё раз повторяя каждому, что надо делать и куда пробиваться. Стоявшие в этом амбаре должны были выступить под командой Шерловского. Сам Пшибек занял место во главе ходов, выстроившихся в соседнем амбаре.

Сидя в седле и дрожа от волнения, Шерловский сжимал в руке заряженный пистолет и, весь превратившись в слух, ожидал сигнала, который должен был подать из соседнего амбара отец его:

Манки. На мгновение в амбаре наступила полная тишина. Только лошади пофыркивали и били копытом в пол. Издали доносились звуки рожка и барабанная дробь.

Вдруг из скопившейся за стенами толпы кто-то крикнул, что солдаты уже вступают с другого конца в деревню.

Не успел отзвучать этот возглас, как раздался пронзительный свист. В тот же миг ворота обоих амбаров разом распахнулись, словно от мощного порыва ветра. Поток ослепительных лучей ворвался внутрь, в полосу света мелькнули всадники с Шерловским во главе. За ними тучей ринулись пешне. Рядом с этой тучей неслась другая, во главе которой виднелась испанская фигура Матвея Пшибека; в одной руке у него было развевающееся ходское знамя, в другой тяжёлый дедовский чекан.

Загremели ходские ружья и пищали, им ответили солдатские ружья, и через минуту обе стороны столкнулись в ожесточённой рукопашной схватке. Безвыходность положения удваивала силу ходов. Они дрались, как львы, чеканы и ружейные приклады беспощадно обрушивались на врагов. В самой гуще боя яростно раздавал удары направо и налево молодой Шерловский.

Вдоль заборов, у стен домов и в открытых настежь воротах амбаров жались старики и женщины, с тревогой наблюдая за ходом боя.

Старый Пшибек, опираясь на плечо внучки, стоял у стены амбара и не обращал никакого внимания на свиставшие вокруг пули. Манка, как и все, лихорадочно следила за сражавшимися. Она видела, как обе людские массы столкнулись: ходы, как будто застигли неприятеля врасплох и потеснили его. Но вскоре всё сплелось в один клубок. В вихре пыли и дыма мелькали белые жупаны ходов и тёмные кафтаны солдат, сверкали сабли и вспыхивали на

солнце топорики чеканов. Ничего нельзя было разоб-
раться. Дикие крики людей смешивались с грохотом
ружейной пальбы и звуками трубных сигналов. Ман-
ка тщетно пыталась отыскать глазами отца и Шер-
ловского.

— Знамя видишь, Манка?— спрашивал дед.

— Вижу... вон там белеет... ах! Упало! Нет, вот
опять!.. Ой, мать божия, нет его... Не вижу боль-
ше!.. Милые, дорогие, может, вы видите?— спраши-
вала она дрожащим голосом соседок.

Женщины напрягали глаза до слёз, но тоже не
могли отыскать белое знамя, которое только что
развевалось над головами сражающихся.

В это время громко прозвучал рожок в другом
конце деревни. Солдаты разобрали заграждение, и
в деревню ворвался взвод кирасир. Земля загудела
от топота лошадиных копыт.

На поле битвы развязка тоже не заставила себя
долго ждать. Толпа белых жупанов поредела и распа-
лась. Часть ходов, однако, пробилась; кирасиры бро-
сились за ними вдогонку.

— Кому-то удалось пробиться? Уйдут ли от ки-
расир?— спрашивал себя каждый, думая об отце,
о муже, о брате.

Солнце ещё не успело подняться над лесом, как
всё было кончено. Солдаты овладели деревней и
занялись грабежом, а в поле, на месте недавнего
боя, бродили жёны и матери, разыскивая мужей и
сыновей. Счастлива была та, чьи поиски не имели
успеха; она могла думать, что тот, кого она искала,
добрался до леса. Но таких было немного. Ежеми-
нутно то там, то здесь раздавался горестный вопль.

Старуха Шерловская тоже искала, но не нашла
ни мужа, ни сына. Она с трудом верила своему
счастью. Но зато там—кто это так убивается?

На вытопанной ногами сражающихся пажити, где
лежало много раненых и убитых, стояла на коленях

Манка, рыдая над телом отца. Матвей Пшибек лежал, вытянувшись во весь свой богатырский рост; левая рука его прижимала к боку древко ходского знамени, правая стискивала старый дубовый чекан. На лице Пшибека застыло выражение мрачной решимости. Белое полотнище знамени было изодрано, затоптано, залито кровью. Так погиб последний ходский знаменосец. О том, как он защищал своё знамя, говорил его покрасневший от крови белый жупан, говорили многочисленные тела врагов, разбросанные вокруг.

Старый Пшибек опустился на колени и молча склонил голову. Слёзы ручьями текли по его щекам. Он ничего не говорил, он только тяжело вздыхал. Но Манка не могла удержаться от горестных причитаний:

— Ой-ой, горюшко-горе... отец мой, добрый, родной!... Господи, господи, как же жить? Ой, дедушка, бедный мой, глядите, вот он, ваш сын... Ой-ой горюшко... отец мой милый, родной!..

Матвей Пшибек не слышал причитаний дочери. Он ушёл, ушёл от злобных немецких панов, ушёл, чтоб не видеть, как подлое насилie убивает золотую свободу ходов.

XIV

Много крови пролилось у Поциновиц. И хорошо было тем, кто остался на поле, как Пшибек. Правда, многим из его отважной дружины удалось пробиться и уйти от солдат. Но им приходилось теперь вести жизнь лесного зверя или искать пристанища в чужих краях. Или надо было уступить нужде, поддаться злой боли — тоске по родине, вернуться и принести повинную, как сделали там, в Гамрах. Но Матвей Пшибек верно предсказывал, что из этого выйдет.

Ходов помиловали, но десятки людей были закованы в кандалы и брошены в тюрьмы в Пльзене, Стшибре и Тыне; в тюрьмах их били палками, как воров и бродяг.

Ходов помиловали, но перед жатвой стали вызывать в Трганов одну деревню за другой. Там крестьяне должны были присягать на евангелии за себя и за своих потомков в том, что они отныне и на вечные времена признают себя крепостными людьми его милости высокородного господина Максимилиана Ламмингера барона фон Альбенрейта и его наследников и обещают соблюдать верность, покорность и преданность своим милостивым господам, беспрекословно выполняя все крепостные повинности. А после присяги им ещё читали бумагу, в которой говорилось, что ходы признают свои старые права и королевские грамоты недействительными и никогда впредь, как это повелевает высочайший указ, не дерзнут начинать тяжбу со своими господами, а будут соблюдать предписанное им *perpetuum silentium*.

Тихо, без шума, входили ходы во двор замка и ждали, пока их вызовут в канцелярию. Не было больше ни пылкого Брыхты, ни Матвея Пшибека, ни Шерловских. Многие пали духом, многие считали, что сейчас не время упорствовать.

Глухим голосом, запинаясь, произносили они слова присяги. Мозолистые руки дрожали, ставя подпись, которой ходы сами замыкали себе уста. И все тяжело вздыхали, переступая порог канцелярии. Теперь они были крепостные, теперь они душой и телом, со всем своим добром, принадлежали ненавистному немцу.

Одна мысль об этом была непереносима. А каково было выполнять всё то, что они обещали в канцелярии! Едва наступила страда, ходов погнали на барщину. Это бывало и прежде, но никогда не

бывало так много и такой тяжёлой работы, и никогда с ними не обращались так, как теперь.

Самую тяжёлую работу должны были выполнять наиболее уважаемые люди, если они побывали в Гамрах. Их насильно приводили из деревень и даже из тюрем.

«Прокуратор» Сыка, постшековский Псутка, поциновицкий Пайдар и немало других седых стариков работали на барском поле с кандалами на ногах, как разбойники.

Всякий, кто хоть сколько-нибудь был причастен к тяжбе ходов с бароном, получил теперь жестокое воздаяние. И о домажлицком токаре Юсте тоже не забыли и посадили его в тюрьму за подстрекательство. Та же участь, по дошедшим из Праги слухам, постигла и последнего ходского прокуратора. Ему не помогли ни дворянское происхождение, ни заступничество влиятельных родственников.

О ходских выборных — старом Грубом, Козине, Эцле-Весельчаке, медаковском Нимце, ходовском Пече и двух остальных — не доходило никаких слухов. Известно было только, что они продолжают сидеть за решёткой.

Лучшие, доблестнейшие из ходов — в тюрьме или в оковах на барщине! Как тут не опустить голову, не согнуться?

Жатва шла своим чередом, но тихо, без песен. Печально кончилась она. Потом пришла осень. Осень требовала новых работ, а немец — новой барщины. Ходы угрюмо повиновались и молчали, когда управитель и его подручные грубо покрикивали на них. Стиснув зубы, они только поднимали глаза к небу, призывая проклятие на голову немца. Были, впрочем, и малодушные, готовые упрекать тех, кого они раньше восторженно поддерживали, — покойного Шибека, Грубого, Козину: надо им было затевать такое!

Старый Шибек замкнулся в мрачном молчании.

С того дня, как ходы потерпели поражение и погиб его единственный сын, его нельзя было узнать. Бодрого до сих пор старика стали тяготить его восемь десятков. Всё ему было теперь безразлично. Ничто его не занимало. По целым дням он сидел неподвижно в горнице у липового обрубка или, когда пригревало солнышко, где-нибудь за домом. Всегда один, с поникшей головой, с опущенными в землю глазами. Манка думала, что он дремлет, но всякий раз, когда она тихонько подходила к нему, она слышала, как старик вполголоса разговаривает сам с собой о Матвее. Однажды, когда она стояла за его спиной, он вдруг поднял голову, словно глядя на кого-то перед собой, и сказал: «Эта комета... я ведь говорил...—И, покачивая головой, он добавил:—И это их суд? Да разве есть у них суд!»

Старик думал всё об одном. Иногда Манка хотела спросить у него совета по хозяйству, но он едва отвечал, словно не слышал или не понимал её слов. А был когда-то такой хороший хозяин! Теперь девушка должна была со всем управляться сама, да ещё ходить за дедом, как за ребёнком. Но она не роптала. Она твёрдо помнила, что сказал ей отец при прощанье. Когда отца похоронили, она повела деда из Поциновиц домой. Печальный был путь! И печальная картина ждала их дома. У них, как и у других крестьян в Уезде, всё было разграблено дочиста.

Другая бы не знала, что делать. Но Манка была дочерью Матвея Пшибека. Она работала не покладая рук, с раннего утра до поздней ночи. За отсутствием мужчин, ей приходилось выполнять самую тяжёлую работу. Но это бы ещё с полбеды. Думы были тяжелее работы. Манка не могла забыть отца, а тут ещё одна боль: старый Шерловский с сыном ушли тогда от кирасир, но к осени старик вернулся домой и теперь ходил в кандалах на барщину; сын

остался на нужбине, и все знали, что немцы усиленно ищут его. Что будет дальше? Вернётся ли он, и что ждёт его, когда он вернётся?

Вольнка Искры Жегурека висела всё время на колышке, а рядом с ней — скрипка его слепого отца. Музыки больше не было слышно. И ученики не приходили больше в домик на краю деревни. У кого на уме была музыка? Вольнщик заправлял теперь хозяйством Козины. Там сильно нуждались в нём. Правда, старая Козиниха и Ганка не щадили себя, но сил у них нехватало. Плохо им пришлось бы без Искры! С того дня, как Искра помог им добраться до леса, он их не оставлял. Он привёл их из леса домой, позаботился обо всём и теперь проводил у них большую часть дня, кроме тех случаев, когда он вынужден был отлучаться на барщину или в замок, где его ждали мушкетёры с палками...

С его приходом у Ганки всякий раз делалось легче на душе. Он был лучший друг её мужа, с ним она могла поговорить о Яне и пожаловаться на судьбу. Со старой Козинихой разговоры не ладились. Свекровь избегала её, хорошо понимая, что Ганка в душе считает её причиной всех несчастий.

Иногда Искре удавалось развеселить удручённую Ганку. На мгновенье её лицо прояснилось, но тотчас же она опять впадала в задумчивость. Ганка усердно работала, не оставляла ничего недоделанным, но иногда в самый разгар работы вдруг надолго исчезала куда-то. И никто её не искал: все знали, что она не смогла совладать с собой и убежала в чулан или на чердак выплакаться.

Ходских выборных недолго держали вместе в новгородской тюрьме. Криштофа Грубого и Козину отделили от остальных, как главарей и зачинщиков, и посадили их врозь.

Один раз, впрочем, выборные все увиделись — на суде, когда им объявляли приговор. Грубый и Козина, как наиболее виновные, были приговорены к году тюрьмы. Остальные могли немедленно получить свободу, дав подписку в том, что они признают себя крепостными барона фон Альбенрейта. При этом один из судей сообщил им, что попытки сопротивления кончились неудачей, и все ходские деревни уже подчинились и дали такую подписку.

Это решило вопрос. Большинство было измучено тюрьмой и тоской по семье. Раз дома все подчинилось, к чему бесполезное упорство?

Первым подписал медаковский Немец, за ним Печ, а потом один за другим остальные. Эцль-Весельчак, который так горячо говорил в Трганове о смерти немецкой плётки, поставил своё имя последним. И всё было кончено! Их отпустили, они были свободны, как птицы. Но никто не чувствовал радости. Медленно, точно от свежей могилы, отошли они от стола, на котором лежала подписанная ими бумага.

После этого один из судей обратился к Грубому и Козине, предлагая им также подписать её. Но дражиновский староста только покачал головой, а его племянник, глядя прямо в глаза судьям, сказал:

— Ломикар может заставить нас ходить на барщину. Но как я могу сказать, что наши права не существуют? Зачем тогда мы подавали жалобу, зачем судились, ходили в Вену, к самому двору, зачем сидели здесь в тюрьме, зачем лилась кровь? И вы хотите, чтобы я теперь сказал: всё это делалось попусту, всё это была только блажь? Нет, я хорошо обдумал, я взвесил всё, прежде чем начать. Наши права существуют, и пусть нас рассудит сам бог...

Подписавшие бумагу ходы слушали речь Козины с низко опущенной головой. И когда, следуя за служителем в чёрном кафтане, они проходили мимо

Козины и Грубого, они не отваживались поднять на них глаза.

Освобождённые вышли, а осуждённых отвели в тюрьму, откуда им предстояло выходить только на тяжёлые работы и только в кандалах.

Отрезанный от вольного мира, Козина был предоставлен самому себе, своим обманутым надеждам, своей тревогой за жену и детей. Тяжело было также, что его разлучили с Грубым. Каков старик! Все остальные поддались малодушию. Он один, дряхлый, больной, устоял и не сдался. Если бы можно было быть вместе со стариком и ухаживать за ним! Козина просил об этом, по ему отказали.

Уплывал день за днём, один другого длинней, тяжелей и печальней. Когда уходили освобождённые земляки, Козину кольнуло в сердце. Теперь они дома, сидят со своими жёнами и детьми... Мыслями он тоже был дома, видел перед собой тоскующую Ганку, видел старуху-мать, суровую, не умеющую жаловаться, но страдающую вдвойне. Ганка горюет только о нём, а мать скорбит ещё о ходской неудаче, о разбитых навсегда надеждах. Ей не дожидаться той свободы, ради которой она берегла, как клад, старые грамоты, ради которой она послала сына на муки.

А Павлик и Ганалка! Сердце узника болезненно сжималось, когда он представлял себе детей, заброшенных и грустных, и вызывал из глубин памяти картины прошлого — резвящихся малышей, их смех, их ласки, их голоса и топот быстрых ножек, когда они, бывало, бегут ему навстречу...

Он живо представлял себе, как Ганка, услышав о возвращении Весельчака, вихрем полетела в Кленеч, как расспрашивала там о нём, о муже; и как она потом плелась домой, вся в слезах, узнав, что он не так-то скоро придёт домой... Как они там обходятся без него? Сколько дел и хлопот у бедной

Ганки! А он? Он ничего не знает, он никого не видит, он заживо погребён. Хоть бы весточка о том, что делается дома, что творится в ходском крае!..

Ничего! Козина хмурил брови и сжимал кулаки, припоминая все беззакония, чинимые над ходами, беззакония, жертвою которых был он сам. Они вопиют к небу, но нет нигде защиты, нет правосудия. А что ещё будет, когда он вернётся; пойдёт на барщину и должен будет молча сносить все унижения, все издевательства немца и его слуг!

В глубине души он надеялся, что кто-нибудь навестит его в тюрьме. И больше всего он ждал Ганку. Однако день проходил за днём, неделя за неделей, зима стучалась в дверь, но никто к нему не приходил. Ожидания были напрасны, и Козина чувствовал некоторую обиду. Но, может быть, к нему просто никого не пускали? Да, именно так и было. Ганка, сгибаясь под тяжестью забот, не могла съездить в Прагу сама, но она послала взамен верного друга Козины, вольничика Искру Жегурека. Если бы только Козина знал, как добивался Искра разрешения повидать заключённого! Как он ходил от Понтия к Пилату, как юбивал все пороги, как бродил целыми днями вокруг тюрьмы, пока его, наконец, не прогнали! Но узник ничего не знал...

Наступила томительная и долгая зима.

Козина спрашивал тюремщиков о старом дяде и просил пустить его к нему. Старик болен, и ему становится всё хуже — это Козине сказали; но пустить к нему не пустили. Козина понимал, что его держат в тюрьме очень строго, как какого-нибудь закоренелого злодея или убийцу. И он понимал также, что виновник его личных бед, как и общей ходской беды, всё тот же Ламмингер. Вся кровь в нём так и кипела, и когда иной раз он представлял себе, что было бы, если бы тргановский немец вдруг вошёл к нему; и предложил свободу с тем, чтобы он

отрёкся от своих убеждений и признал, что ходские права потеряли силу, он чувствовал, что ответил бы немцу решительным «нет», бросил бы это «нет» прямо в лицо бесчестному палачу и выдержал бы его угрожающий, злобный взгляд, как и в тот раз, когда немец явился в Уезд за грамотами.

XXV

В тёплый мартовский день сторож вывел Криштофа Грубого на тюремный двор. Старик был очень слаб и не мог ходить. Он тотчас же опустился на грубо сколоченную скамью, стоявшую на солнечной стороне двора. Дражиновский староста заметно исхудал и осунулся. Он начал хворать, ещё когда заседал апелляционный суд, а тюрьма и вести из ходского края доконали его. Опустившись па скамью, Грубый вытянул ноги, сложил на коленях руки и уставился взглядом на безоблачное, сияющее небо, которого он так давно не видал. Но уже через минуту он почувствовал усталость и боль в глазах, и голова его склонилась на грудь. Так он сидел, не шевелясь и думая свою думу, и только изредка трясся всем телом, когда его мучал кашель. Вдруг он поднял голову: на землю перед ним упала тень.

— Ну, как, старина? — спросил его какой-то важный пан в тёмнокоричневом кафтане, в чёрных штанах и чулках, с высокой тростью, украшенной серебряным набалдашником.

— Плохо, ваша милость, — ответил старый ход. — Еле ноги волочу. Сил не стало. Сперва хоть сон был, а сейчас... И ломота в костях...

— Не унывай, старина. Я тебе дам порошки.

— Эх, ваша милость, аптека уже не для меня, — сказал Грубый, догадываясь, что говорит с врачом. — Не пережить мне весны. Да оно и лучше.

— Ну, ну, рано умирать собрался. Нечего спешить. Жизнь всем мила.

— Это правда, ваша милость, когда человеку хорошо живётся... А нашему брату...

— Ничего, как-нибудь перетерпишь.

— Непохоже, ваша милость. А если бы даже... так лучше пусть бы со мной сделали, что хотят, только бы нам отдали наши права. А их не отдадут... Вот то-то оно и есть, ваша милость...

Старик бессильно махнул рукой и затрясся в приступе жестокого кашля. Врач с жалостью глядел на него. Наконец, кое-как отдышавшись, Грубый поднял глаза на врача и спросил:

— Ваша милость, если уж вы так добры, так не скажете ли мне, что с тем парнем, с Козиной?

— С Козиной? Ничего. Стоит на своём. Видно, он с доброй одного поля ягода. Эх, вы! И чего упорствуете? Почему не покоритесь?

Грубый покачал головой.

— Нет, нет, пан доктор, об этом лучше не говорите... А вот как он — не болеет?

— Козина? Нет,— сухо ответил врач, несколько задетый непримиримостью старого хода, и повернулся, собираясь уйти.

— Ещё об одном попрошу, ваша милость,— задержал его Грубый.— В какую сторону отсюда наш город Домажлицы?

Врач удивлённо взглянул на старика.

— Зачем тебе?

— Да так... чтоб посмотреть на небо, что в нашей стороне, над нашим краем...

Врач сообразил направление по солнцу и указал рукой.

— Вон там, в той стороне ваши Домажлицы и ваш край, который вы губите своим упрямством.

Голос его звучал менее резко, чем слова, и, уходя, он ещё раз оглянулся на старого хода. Тот смотрел

на небо и, казалось, тянулся всем телом туда, где вздымались Шумавские горы, где лежала его оскорблённая родина, за которую он страдал и которой были посвящены все его помыслы.

Выйдя из-под сводов новоградской ратуши, врач встретил советника апелляционного суда Парубека и под свежим впечатлением рассказал ему о своём разговоре со стариком.

Доктор прав Парубек заморгал своими косыми глазами и сказал:

— Знаете, как выразился о нём и о его племяннике наш советник Кнехт? «Настоящие чехи, упрямы, как быки...» И при этом поглядел на меня! — И Парубек осклабился так, что все морщины с его лица собрались под левым глазом. — Они и впрямь неподатливы до ужаса. Скорее дадут разорвать себя на части, чем откажутся от своей веры в ходские права. Этот Козина говорил, — зачем, мол, мы требуем, чтобы он отказался от старых прав, если они всё равно потеряли силу? А я, говорит, поступаю по совести и иначе не могу.

— К ним отнеслись ещё довольно снисходительно, — заметил врач.

— Ха-ха! Вы, верно, ожидали виселицы или колесования? Не забывайте, что эти простаки до некоторой степени жертвы обмана. Их последний высокогородный адвокат — это природный плут и шарлатан. Выманил у них уйму денег на дорогу, на лошадей, на всякие расходы! Ну, а если они никак не могут забыть прежние времена и прежние вольности, так что же тут удивительного! Впрочем, теперь они присмирели. Все, кроме этих двух, признали себя крепостными.

— Надо думать, что к концу своего срока и Козина станет сговорчивее. А старик едва ли выживет...

— Гм... Ещё не знаю, как будет...

— Как так?

— Да так... Ламмингер отнюдь не был в восторге от нашего приговора. Говорят, что он собирается его обжаловать. Хочет, чтобы дело из общеапелляционного суда передали в уголовный.

— Вы думаете, он добьётся этого?

— Гм... на то он и Ламмингер. В Вене у ходов тоже сначала дело шло хорошо. Прокуратор Штраус направил его по верному пути. Но Ламмингер повернул и дело, и прокуратора в другую сторону. У него всюду друзья, а потом он знает, что наверху не любят ни крестьянских тяжб, ни крестьянских бунтов.

— Что же будет, если дело попадёт в уголовный суд?— перебил Парубека врач.

— Их будут судить за бунт.

— И начнут припиливать им одну статью за другой, пока не подведут под виселицу...

— Вот именно. Совершенно так же, как вы прописываете одну микстуру за другой, пока не отправите больного на тот свет. По всем правилам науки! Что? Разве не так? Учёная премудрость...

Манка Пшибек продолжала хозяйничать одна. Для молодой девушки это было дело нелёгкое, и домашних забот у неё было более чем достаточно. Не оставляли её и другие заботы.

Шерловский всё ещё был на чужбине. Он тосковал по родине и время от времени справлялся через кого-нибудь у родителей, нельзя ли ему уже вернуться. Но отец всякий раз отвечал, чтобы он и не думал об этом, так как его попрежнему ищут. И молодой ход жил в соседней Баварии, недалеко от границы, и влачил жалкое существование батрака на немецком хуторе.

За год своего изгнания он, однако, два раза при-

ходил повидать невесту. Тайком, лесными тропами перебирался он через границу и под покровом ночи прокрадывался в Уезд. Последний раз он приходил перед пасхой и клялся, что больше не в состоянии терпеть и лучше отсидит в тюрьме и будет ходить в кандалах на барщину.

Манка умоляла его быть благоразумным и не успокоилась, пока он не пообещал ей подождать ещё немного. Но, несмотря на его обещание, она продолжала тревожиться, боясь, что её возлюбленный не в силах будет превозмочь свою тягу домой. Старуха-соседка советовала ей пойти к немцу в Трганов и просить за Шерловского, но Манка и думать об этом не хотела.

— Отец перевернулся бы в гробу, если бы я это сделала!— ответила она.

Зато Ганка каждый день справлялась, не вернулся ли Ламмингер из Праги. Дело в том, что, как только наступила весна, она отправилась в Прагу, рассчитывая навестить своего Яна. Она волновалась, торопилась, радовалась и боялась того мгновения, когда увидит, наконец, мужа. Пустят ли её? Искру осенью не пустили, но он ведь Яну чужой, а она жена, она мать его детей. Не могут же они быть такими жестокими и прогнать её! А между тем именно так и случилось.... Напрасно она плакала и просила, напрасно предлагала сторожам деньги. Её не пустили и согласились только передать Козине, что она приходила к нему.

Козина привык уже к разным строгостям, но и ему было трудно поверить, что Ганке отказали даже в минутном свидании с ним. Ганка... Она была так близко... Сердце его сжалось, но боль тотчас же уступила место гневу. Долго потом он мысленно следовал за бедной Ганкой, печально бредущей домой. Если бы он видел, как она была убита, как плакала всю дорогу, и что с ней делалось, когда на-

встречу ей выбежали дети с бабушкой, спрашивая, что говорил отец!..

Вот почему, когда настал май, когда долины и склоны гор покрылись пышной зеленью, она старалась разузнать, не вернулись ли в замок господа. В прежние годы в эту пору они всегда уже были в Трганове, но теперь что-то запаздывали. Должно быть, Ломикар не очень верит в покорность притихших ходов и боится, как бы его приезд не вызвал новую бурю. Так рассуждали в Уезде, и никто не скучал по немцу. Одна только Ганка хотела, чтобы Ломикар поскорее приехал. Ни с кем не советуясь, она решила сходить в замок и просить её милость баронессу замолвить слово за Яна. Говорили, что баронесса добрее своего супруга, и Ганка надеялась разжалобить её. Ведь она сама жена и мать! И если не удастся добиться, чтобы Яна выпустили из тюрьмы до срока, то уж, наверное, Ганка выпросит свидание с мужем. И тогда она сейчас же поедет в Прагу и, чтобы обрадовать Яна, возьмёт с собой Павлика.

Но минула весна, кончалось и лето, прошла страда, а господа не приехали. И Ганка уже не думала о жалостливой баронессе. Ведь скоро будет год, как осудили Яна, и она каждый день снова и снова высчитывала, когда он должен вернуться. Она понемногу оживлялась, приходила в себя, целыми часами толковала с Искрой и Дорлой о возвращении Яна. А когда вольничик и Дорла отправлялись домой, она находила себе других собеседников: принималась рассказывать Павлику и Ганалке об отце и о том, что он скоро приедет из Праги..

И вот кончился срок. Минул год. Каждый день, каждый час, горя от нетерпения и волнуясь, ждала Ганка мужа; то и дело выбегала ему навстречу — и одна, и с детьми. Но Ян не возвращался. Наступила осень. Больше года прошло

с тех пор, как Ян покинул родной дом. А когда прошло больше года с того дня, как суд объявил приговор, уверенность Ганки поколебалась. Не успела надежда согреть её сердце, как опять нахлынул былой страх и тоска.

Однажды, в неприветливый осенний день, Ганка возвращалась из Домажлиц, куда она ходила за покупками в тайной надежде встретить по дороге спешащего домой Яна. Но она шла обратно такая же одинокая, как и туда; печаль лежала у неё на сердце, как лежал сумрак осеннего вечера на холмах и низинах ходского края; и вдруг у околицы в Уезде она увидела толпу, взволнованно обсуждавшую какие-то новости.

— Ломикару всё мало!— слышались голоса.— Теперь будет новый суд. В Кленеч пришли из замка и забрали Весельчака. А у нас Сыку. Их повезут в Пльзен.

Ганка побледнела, ноги у неё подкосились. О Яне ничего не говорили, но...

На другой день до Уезда дошли более подробные сведения. Забрали не только Эцля и Сыку, но ещё Пайдара и старого Шерловского из Поциновиц, Печа из Холова, Немеца из Медакова и всех, кто ходил на суд в Вену и в Прагу. Их заковали в кандалы и увезли в Пльзен. Ганка в отчаянии ломала руки. Она поняла теперь, почему не возвращался Ян. И когда пришёл Искра, она вне себя от горя встретила его воплем:

— Искра, он уже не вернётся!..

XXVI

В один прекрасный день, в половине февраля 1695 года, за Яном Козиной пришёл тюремщик с солдатом. Узника перевели из одного каземата в

другой. Перешагнув порог своего нового жилища, Козина на мгновение остановился, бросил взгляд кругом и вдруг порывисто шагнул вперёд; цепи на ногах у него зазвенели. На жидком соломенном ложе лежал дражиновский староста Криштоф Грубый. Старик ещё прошлой весной, когда разговаривал на тюремном дворе с врачом, был уверен в близости смерти. Но смерть не пришла, и он уже вторую зиму проводил в заточении. Изжелта-бледный цвет лица и мутный взгляд говорили, что силы его убывают. Племянник с трудом узнал его.

Куда девался высокий старик с благородной осанкой, свежий и бодрый, с ясным взглядом и уверенными движениями? Измождённый, бессильный, лежал старый ход...

Заметив подошедшего Козину, старик с минуту всматривался в него. Затем лицо его прояснилось, и слабое подобие улыбки мелькнуло на его губах. Грубый не видал племянника с того дня, как им объявили приговор.

— Да, ты тоже изменился, хотя не так, как я,— сказал он, глядя на бледное, исхудалое лицо Козины.

Он очень обрадовался племяннику и ещё больше обрадовался, когда тюремщик сказал, что Козина останется с ним. Захлопнулась дверь, загремели засовы, старый и молодой ход остались вдвоём. Козина присел на доски, служившие ложем Грубому. Тусклый зимний свет падал на когда-то белый, а теперь грязно-серый, обтрёпанный жупан старика. На груди молодого хода всё ещё висели в петлице красные ленты — память о Ганке, о счастливом дне свадьбы.

Племянник расспросил дядю о его здоровье, а когда старик кончил свои жалобы, Козина, пытливо глядя на больного, спросил:

— Год уже прошёл, а мы всё ещё здесь. Вы знаете, дядюшка, почему?

Старик с трудом приподнялся, сел и кивнул головой. Да, он знал, что Ламмингер обжаловал решение апелляционного суда и добился передачи дела в уголовный суд.

— Значит, знаете... Меня уже водили в суд. В этот другой. Опять допрашивали и говорили, что это я всё наделал своими речами.

Козина замолчал.

— А у меня были тут в тюрьме. Я ведь уже не держусь на ногах,— сказал старик.

— Я так и думал,— ответил Козина и рассказал, что Сыка, Весельчак, старый Шерловский, Пайдар и остальные выборные и ходоки тоже арестованы и их уже допрашивали.

Старик покачал головой и сжал обеими руками виски.

— Да, да, знаю... Я думал, что они только меня, либо нас двоих... А они и тех тоже... Это всё тргановский немец, кровопийца... он ра, был бы перегрызть горло всем ходам. Ну, и суд хорош!

— И это вы уже знаете?

— Знаю ли? Конечно, знаю. Паны из уголовного суда были тут у меня. Вам, наверное, тоже прочитали?

Старик поглядел мутными глазами на племянника, который сидел, молча уставившись в одну точку. Козина не поднял голову и тогда, когда дядя его стал повторять содержание объявленного ему сегодня приговора: Эцль-Весельчак, Криштоф Грубый и Козина, как вожаки и зачинщики, приговорены к повешению; Пайдар, Сыка и Брыхта в течение назначенного судом срока будут стоять ежедневно два часа у позорного столба, а затем изгнаны из страны; остальные... но тут память изменила старику; список был длинный, и он помнил только, что одних приговорили к двум годам, других к году, а

некоторых к трём месяцам строгого тюремного заключения.

Когда Грубый умолк, Козина встряхнул головой, словно очнувшись от дум, и сказал:

— Да, и мне так читали.

— Так-то, парень... Вот что нам дали за наши права. Грамоты взяли, а петлю дали. Это всё Ломикар. Но в Вене так не оставят. Не может этого быть! Что мы сделали?

Козина с сомнением покачал головой.

— Не знаю, дядюшка...

— Да ведь это же вопиющее дело! Император этого не подпишет... нет... А если этому тргановскому волку непременно пужно загубить чужую жизнь, пусть берёт её у меня, старого, больного мужика. Мне уже всё равно... По крайней мере не увижу новых немецких порядков,— добавил старик ослабевшим голосом и закашлялся.

Козина стал ходить из угла в угол.

— Я его знаю,— сказал он. — Он не уступит. Нет, мы уже не вернёмся домой.

— Я-то нет... Но ты, парень, ты... не отчаивайся... Не может этого быть! Молодой человек, жена, дети...

Козина вздрогнул и остановился. Слова дяди коснулись кровоточащей раны. Он не мог сдержать болезненного вздоха.

— Вот это-то тяжелее всего! Ганка и дети... Бедные дети! Я всё время думаю о них. Если бы не это... Что мне тогда виселица? Пусть вешают! И просить ни о чём не стал бы!

— А ты думаешь просить Ломикара?

— Ни за что! Даже с петлей на шее не буду!

Оба замолчали. Когда разговор возобновился, они ни словом больше не обмолвились о неслыханно жестоком приговоре. Вспоминали о родном крае, о доме, семье. Только раз старик не стерпел и снова стал клясть немецкую жестокость: когда Козина

рассказал, что не только Искру, но даже Ганку не пустили к нему.

Невесёлой была встреча обоих узников, но всё же вдвоём было легче. Можно было отвести душу в беседах о доме. О приговоре они больше не говорили, по каждый из них и днём, и ночью по многу раз задавал себе вопрос: утвердят ли его в Вене?

Старый Криштоф Грубый не боялся смерти. Он давно был готов к ней. Силы его убывали, и через несколько дней он попросил позвать к нему священника. Получив напутствие, он попросил священника написать для него письмо домой. Вопреки ожиданию, священнику разрешили исполнить просьбу старика. Козина тоже обрадовался, надеясь, что в письмо дяди удастся вставить несколько слов и для его семьи.

По желанию Грубого, священник написал, в каком он находится состоянии, и сообщал его последнюю волю на случай, если ему не придётся больше вернуться домой. Грубый посылал всем своим последнее благословение и скорбел о том, что никого из них уже не увидит. В конце письма он добавлял, что теперь он вместе с Козиной, который шлёт низкий поклон всем в Дражинове и дома, в Уезде, а особенно — жене, детям и матери, и пусть это непременно передадут в Уезд... Больше ничего не позволили написать.

Старик священник, покидая Грубого, попробовал утешить его. Бояться смерти не следует... Да может быть, он ещё и выздоровеет...

Но Грубый не дал ему договорить.

— Нет уж... Даже тут знают, что мне конец приходит. Только потому и пустили ко мне Козину.

Когда священник ушёл, старик обратил усталый взор к племяннику и сказал:

— Если бы я знал уже, что это тебя миновало... камень с сердца свалился бы... было бы легче уми-

рать...— он умолк на мгновенье, уставившись глазами куда-то вдаль, затем снова обернулся к племяннику.— А если бы попустил господь и пришлось бы тебе... не проси, Ян!

— Не буду, дядя. Я уже говорил вам.

— Мы ничего не добились, это правда... но умрём не напрасно!— в глазах старика на миг зажёгся огонь.— И хоть бы все, кроме нас двоих, подписали и отреклись, всё равно! Если мы стоим на своём, право наше живёт! И будут после нас другие, и смогут снова бороться, и наступят лучшие времена!..

Утомлённый длинной речью, старик замолчал и сложил руки на груди. Днём он не надолго задремал. Проснувшись, пробовал говорить с Козиной, но уставал после первых же произнесённых слов и надолго останавливался. Он переносился мыслью опять в ходский край, вспоминал своих и горевал, что будет похоронен не в родной земле. Под конец он протянул обе руки к Козине.

— Ян, ради господа бога, прошу тебя, прости меня... Может быть, ничего бы с тобой и не было, если б не я... Прости меня...

Голос его дрожал. Молодой ход крепко сжал холодеющую руку старика.

— Было бы, всё равно было бы, дядя... Вы не виноваты ни в чём.

Когда в тюрьму вползли сумерки, старик заговорил опять:

— Я молюсь и прошу бога смилостивиться над нашими там, дома, а больше всего над тобой, Ян... чтобы не допустил он тебя погибнуть невинно... Должна же быть справедливость на свете!

Вечером тюремщик принёс больному миску похлёбки, но он не дотронулся до неё. Козина попросил оставить им на ночь светильник; сторож согласился. Всю ночь Козина не смыкал глаз; он

видел, что Грубый не ошибся, чуя приближение смерти. Старик до последней минуты был в полном сознании. К утру он попросил племянника вслух помолиться за него. Козина опустился на колени и стал читать молитву за молитвой, не спуская глаз с умирающего. Вдруг он остановился. Криштоф Грубый порывисто вытянул руку, голова его свесилась набок, по лицу разлилась землистая бледность.

Утром, когда тюремщик принёс узникам хлеб, он застал молодого хода сидящим неподвижно, как изваяние, у тела старика.

Когда тело уносили, Козина попросил, чтобы ему разрешили проводить покойника до могилы. Ему отказали. Зато другая просьба его была исполнена: его оставили в том каземате, где он был вместе с Грубым.

Весь этот и следующий день Козина думал почти исключительно о покойном дяде. Из всех ходских старост он пользовался наибольшим уважением в крае; и вот где ему довелось окончить свои дни! А где и как его похоронят! Никто из его семьи не будет плакать над телом, никто из них даже не знает, что Криштофа Грубого больше нет. Там, в Дражинове, целых три дня громко причитали бы над покойником. Три дня далеко разносились бы скорбные голоса, напоминая всем, как много добра он сделал при жизни, какой хороший он был муж, отец и хозяин, как он был добр и приветлив со всеми. А тут — отнесли в покойницкую и уже на другой день возьмут оттуда, и не придут соседи проводить покойника, никто не будет идти за его гробом, не прозвучит колокол, тюремщики потащат и кинут в яму. Хоть бы ему, Козине, позволили взглянуть на могилу и запомнить место последнего успокоения дражиновского старосты. Запомнить? Для чего? Разве он вернётся домой, чтобы рассказать?..

Козина вздрогнул.

Он вспомнил о себе... Его, быть может, ожидает ещё худшее... если там, в Вене, утвердят приговор... А Ганка? Дети? Мысли его застывали, сердце переставало биться.

Настали снова дни тягостного одиночества, полного дум, печальных и мучительных. Время ползло медленно, но неумолимо.

Однажды утром тюремщик, принеся Козине еду, остался стоять у дверей и долго смотрел на узника. Наконец, как бы решившись, произнёс:

— Послушай, парень, что я тебе скажу... Не говори только никому, что ты об этом узнал от меня. Ты боишься, что в Вене всё утвердят, так вот это не так...

Козина весь превратился в слух.

— Вчера пришла бумага из Вены... я сам узнал случайно... только смотри же, молчок... император не всё утвердил.

Козина почувствовал, как вся кровь прихлынула к его лицу.

— Император решил, чтобы только одного из вас... ну... повесили.

— Кого? — спросил Козина.

— Не знаю. Это теперь должны решить те, — и тюремщик указал пальцем вверх, что должно было, повидимому, означать членов уголовного суда. — Твой старик ушёл от них. Вас, значит, осталось двое. Кого из вас они выберут, того... ну, словом. Это зависит от них. У тебя надежды больше. Того — другого, когда посылали приговор в Вену, поставили на первом месте, потому что он поносил вашего пана. Покойник был на втором месте, а ты только на третьем. Так что, пожалуй, тебе удастся вывернуться...

— И что тогда?

— Ну, домой не пойдёшь. Кого помилуют, того пошлют на десять лет в Венгрию, в Комарно. Так сказано в той бумаге, что пришла вчера. На десять

лет в крепость — тоже не пустяк... Но всё-таки десять лет не вечность. Из Комарно вернёшься, а оттуда...

Тюремщик замолчал.

— Дай вам бог здоровья,— поблагодарил глухим голосом Козина.

Он остался один. Итак, он или Весельчак. Одному из них достанется жизнь. Может быть, ему? Он молод, у него любимая жена, маленькие дети, он не хотел бы умирать. Да и за что? Он ни в чём не виновен. Он добивался только справедливости. Когда другие нарочно пакостили Ломикару и его прислужникам, он их удерживал. Он верил в правду, он полагался на закон и правосудие. А теперь... он или Весельчак. Эцль — тот произнёс тогда речь о немецкой плётке и торжественно утопил её в проруби на глазах Ломикара. Немец ему этого не забудет. Он же, Козина, удерживал Весельчака и Брыхту и заклинал их не устраивать шествие в Трганов. А его осудили вместе с Весельчаком! Да и Весельчак,— разве он заслуживает такой кары? Или вообще кто-нибудь из ходов? Заслужил её только сам Ломикар, который нарочно раздражал ходов. А Ломикар... кого бы выбрал он? Кого из двух обрёл бы на смерть? Весельчака или его, Козину, который не раз смело глядел ему в глаза и смело говорил за всех? И внутренний голос отвечал Козине: «Тебя, тебя!»

Правда, решает не Ломикар, а суд. Но Ломикар умеет всё устроить. Был приговор апелляционного суда — он его уничтожил. А теперь заставит судей решить так, как он решил. Ну, и пусть решает! Не дожждётся он, чтобы Козина покорился и сказал: «Всё, что я отстаивал, ложь». Чтобы после всех своих беззаконий немец ещё указывал на него с насмешкой и говорил: «Смотрите, как он присмирел, как он послушен!..» Столько натерпеться и всё ради того, чтоб пережить такой позор,— нет!

Да, когда его отец предсказывал, что за ходскую

свободу ещё прольётся кровь, не думал он, что его собственный сын... И он сам, когда под старой липой тргановский управитель со своей сворой разбили ему голову до крови, не думал, что... Но... Пусть будет так. Если он умрёт, то за правое дело.

Порою, однако, твёрдая решимость Козины ослабевала. Это бывало, когда он вспоминал о жене и детях. Он представлял себе последнюю минуту, прощание, и холодный пот выступал у него на лбу.

Неизвестность больше всего мучила его, и он несколько раз справлялся у тюремщика, есть ли уже решение. Но решения всё не было. Наконец как-то раз тюремщик на его вопрос ответил, что решение, кажется, есть, только он не знает какое. Во всяком случае суд опять пошлёт его на утверждение в Вену, а на это вновь уйдёт несколько недель...

Что за люди! К чему все эти проволочки, вся эта пытка!..

В одну бессонную ночь, когда он, по обыкновению, бесплодно пробовал разрешить вопрос — смерть или жизнь, у него мелькнуло в голове: а не погадать ли? Чёт или нечет? Чёт — жизнь, нечет — смерть. Козина вскочил, отошёл к стене, секунду постоял и пошёл к дверям, отсчитывая шопотом шаги. Тихо звенели во тьме кандалы на ногах. Но вот звон затих, Козина дошёл до дверей. Семь шагов... Дурной знак! Надо проверить. Он подошёл к своему ложу, протянул руку и вытащил пучок соломы. Потом стал тщательно считать стебельки. Одна за другой падали наземь отсчитанные соломинки. Одна, две, три... четырнадцать. Ещё две только остались у него в руках. Пятнадцать, шестнадцать. Эх! Ещё одна застряла у него между пальцами, последняя, семнадцатая!

В третий раз Козина не стал гадать, но в эту ночь он не уснул.

Снова пышно цвели долины и склоны. На полях, переливаясь волнами, ждали серпа густые хлеба.

В тргаиовский замок приехали, наконец, господа. Баронессе очень не хотелось приезжать. Муж её собирался в Трганов ещё в прошлом году, но тогда баронессе удалось отговорить его. На этот раз он был непреклонен.

— Не бойтесь, дорогая,— холодно и спокойно отвечал он на все её доводы.— Это уже не прежниеходы. Посмотрите и увидите, как я их укротил. Ягнятами стали.

Баронесса готова была верить мужу на слово. Но это-то её и угнетало. Она представляла себе унылую, могильную тишину в прекрасном Шумавском крае, и её заранее охватывала тоска; а кроме того, она боялась, как бы её муж своими строгостями не вызвал нового взрыва. Приехав в замок, белые стены которого едва виднелись сквозь густую зелень деревьев, она почти всё время проводила в саду. Всего несколько дней пробыла здесь баронесса, и уже не знала, куда деваться от тоски. Раньше, когда с ней были дочери, было всё-таки веселее. Теперь и младшая оставила родительский дом и жила в поместье своего мужа, графа Вертба фон Фрейденталь. Баронесса была рада за дочь. Она помнила, как томилась здесь молодая, жизнерадостная девушка. Как рвалась бы она отсюда теперь!

Однажды в воскресенье баронесса фон Альбенрейт сидела в саду под густым сводом красиво подстриженных деревьев и читала письмо дочери. Оно пришло ещё утром, и баронесса уже несколько раз перечитывала его. Сначала, в радостном нетерпении, она только наспех пробежала его глазами, зато теперь она вчитывалась в каждое слово, взвешивала каждую запятую. Баронесса читала, и лицо её озаря-

лось тихой радостью. Дочитав, она сложила письмо и, не выпуская его из рук, повернулась на шум слышавшихся невдалеке шагов.

Она ожидала мужа, но вместо него из боковой аллеи показался камердинер Пётр.

— Ах, это ты, Пётр! — встретила она слугу. — Что делает барон?

— Всё работает.

— А что, случилось что-нибудь?

— Нет, ничего, ваша милость. Я хотел сказать... Ворота закрыты, но, странное дело, какая-то крестьянка всё-таки пробралась сюда. Подстерегла, наверное, когда отпирали калитку...

— Чего ей надо?

— Спрашивала вас, ваша милость. Её прогнали, но я хочу посмотреть, закрыта ли другая калитка, садовая...

Он не договорил. На дорожке захрустел песок. Баронесса обернулась в ту сторону. К ней робко приближалась молодая женщина в траурной юбке, с передником; голова крестьянки была повязана вышитым белоснежным платком. С ней были двое детей, мальчик и девочка, оба в праздничных нарядах, с тщательно причёсанными волосами.

Баронесса с любопытством оглядела молодую, красивую крестьянку. Ей, однако, сразу бросилось в глаза, что у женщины измученный вид. Пётр, опомнившись от неожиданности, хотел было выпроводить дерзкую, но баронесса знаком остановила его.

Увидав богато одетую даму, крестьянка наклонилась к детям и что-то шепнула. Мальчик быстро побежал к баронессе и поцеловал её руку. Его сестрёнка, златовласая девчурка, лет четырёх, зардевшись, как мак, сделала несколько шагов и остановилась. Даже старый Пётр не без одобрения глядел на бойкого мальнугана и его прелестную, застенчивую сестрёнку, видимо понравившуюся баронессе.

— Кто ты и откуда? — обратилась баронесса к крестьянке.

— Из Уезда. Козина.

Тень промелькнула по лицу баронессы. Старый Пётр насупился.

— Чего ты хочешь?

Глаза молодой крестьянки наполнились слезами. Она упала на колени и молча простирала руки, не в силах произнести ни слова.

— Милосердия, ваша милость! — вырвалось, наконец, у неё. — Пощады!

— Встань и объясни, что тебе надо.

— Ах, ваша милость и так знает... Уже другой год муж мой в тюрьме. Его судили строже всех, а он виноват меньше других. Он всегда успокаивал их, уговаривал не бушевать. А при этом бунте его даже не было тут, он сидел уже в тюрьме. Заступитесь, ваша милость, замолвите слово перед вашим паном, чтобы мужа выпустили. У нас без него всё разваливается... И он, бедный, терпит... А дети, ваша милость! И у вас ведь есть дети! А если мой муж и провинился в чём, так мы ведь все не без греха, и он уже достаточно наказан. Ради бога, ваша милость...

Баронесса не прерывала плачущую просительницу. Мольбы и слёзы бедной женщины тронули бы всякого. Но только вчера муж сказал ей, что уездский Козина, без сомнения, будет казнён. Да, жаль было смотреть на краснощёкого мальчугана и на его кудрявую сестрёнку. Дети не понимали, что происходит, и переводили полный любопытства взгляд с плачущей матери на красиво одетую знатную даму.

— Перестань же плакать, — сказала баронесса. — Мне жаль тебя, и я бы охотно помогла... Желаю, чтобы твои дети не остались без отца... Но я ничего не могу сделать...

— Но его милость...

— Ты ошибаешься. Судит твоего мужа не он, а суд в Праге. От него всё зависит. Посмотрим, может быть, что-нибудь...

Она оборвала речь на полуслове. Её остановил звук приближавшихся шагов. Пётр испугался и отступил в кусты. Он сразу узнал эти шаги.

Ганка не заметила, как подошёл барон. Ламмингер обвёл своим пронизывающим взором необычную группу. И тут вдруг Ганка услышала его слова.

— Кто впустил её сюда?— холодно и жёстко спросил он.

Ганку кольнуло в сердце. К баронессе она готова была чувствовать доверие и даже не боялась её... Но его... Это же он! Немец! Ломикар! Будто коршун повис над ней. Дыханье у неё остановилось, и она судорожно прижала к себе маленькую Ганалку, которая, точно испуганный цыплёнок, пряталась в складках её платья.

— Ваша милость!— еле выговорила она сдавленным голосом.

— Что тебе нужно?— спросил Ламмингер.

— Это Козина... — поспешила объяснить его жена.

— Да? И чего же она хочет?— равнодушно произнёс барон.

— Ваша милость,— заторопилась Ганка.— Мой муж так долго сидит в тюрьме... Пощадите, ваша милость!

— Это он послал тебя?

— Я не могла с ним видаться, ваша милость. Я была там, но меня не пустили.

— А если бы и пустили, он едва ли послал бы тебя сюда. И напрасно ты пришла. Сужу его не я, а суд в Праге.

— Ваша милость... если бы вы только... вы всё можете... По вашему слову сделано, по вашему же слову его и отпустят. Ваша милость, богом заклинаю вас, ради этих детей!..

— О них он сам должен был подумать, прежде

чем идти против своих господ,—ледяным тоном ответил Ламмингер.

На мгновенье наступило зловещее молчание. У Ганки словно отнялся язык. Баронесса не знала, что сказать.

— Когда же, ваша милость, отпустят Яна? — спросила, наконец, Ганка тихим сокрушённым голосом.

Жестокая усмешка скользнула по губам Ламмингера. Он уже хотел ответить, но баронесса поспешно обратилась к нему по-французски:

— Ради бога, не говорите ей... Я не вынесу, пощадите меня!

— Я не судья и ничего не знаю, кроме того, что приговор будет объявлен очень скоро, на этих днях,—сказал барон.—Но я не хочу тебя обманывать и скажу тебе, что приговор будет очень строгий. В другой раз пусть не бунтуют. Нужен такой урок, чтобы его запомнили навеки. А твоего мужа нужно наказать особенно строго. Он поднял всех. Сегодня мы его отпустим, а завтра он опять поднимет их. Мы видели, как действуют его речи. Он опасный человек и пусть пеняет сам на себя. Ну, а теперь ступай с богом.

Ганка была сражена этими чёрствыми, бессердечными словами. Молча, боясь проронить хоть звук и даже взглянуть на немца, она поднялась с колен, взяла перепуганных детей за руки и пошла. Но юна не в силах была совладать с собой и тут же разразилась отчаянными рыданиями.

Ламмингер, не оглянувшись на неё, холодно повернулся к жене и сказал:

— В другой раз, пожалуйста, избавьте меня от этих сцен.

Тучи заволокли всё небо. Тень их пала на весь ходский край, притихший в ожидании грозы. Всё замолкло, всё притаилось.

Прошла ровно неделя с тех пор, как Ганка ходила в тргановский замок. В Уезде, как и во всех ходских деревнях, со страхом и трепетом ожидали пражского приговора. Но каков может быть приговор — не подозревал никто.

Во дворе под липой сидела Ганка со свекровью, Искра Жегурек и гость из Дражинова, старший сын покойного Криштофа Грубого. Он собирался в Прагу, чтобы разузнать, как и где похоронен отец, и сказал, что постарается проникнуть к Яну. Ганка несколько оживилась. Она всё ещё не могла притти в себя после посещения замка. Мысль, что Ян может просидеть в тюрьме ещё долго, может быть несколько лет, убивала её. Даже Искре не удавалось её успокоить, сколько он ни твердил, что немец только грозил, чтобы выместить на ней свою злобу против Козины. Когда-то неугомонный шутник и балагур, а теперь всегда задумчивый и серьёзный, вольтерьянец уверял, что Яну ничего не может быть, так как он ни разу даже не взял в руки чекана.

Ганку так обрадовал привет от Яна, переданный в письме Криштофа Грубого! И сейчас она готова была радоваться: молодой Грубый тоже, может быть, принесёт какие-нибудь вести, а если его пустят к Яну, то и она отправится в Прагу. Это она твёрдо решила про себя.

Разговор под липой продолжался. Вдруг в тишину, царившую вокруг, ворвался грохот. Сначала все подумали, что это отдалённый раскат грома. Но это был не гром, а барабанный бой.

Искра вскочил и поспешил к воротам. Но во двор уже стрелой влетел Павлик и, ещё не добежав до липы, закричал, что на площади остановились верховые.

Все бросились на площадь. У всех мелькнула одна и та же мысль: солдаты. Так думали и другие

жители Уезда, которых барабанный бой заставил покинуть свои дома или поднял с мягкой травы под деревом.

Но на площади они увидели не солдат, а двух хорошо знакомых им всадников: писаря из тргановского замка и тргановского мушкетёра, который бил в барабан с таким усердием, словно хотел созвать сюда весь свет. В одну минуту всадники были окружены густой толпой. Все сгорали от нетерпения, всем хотелось поскорей узнать, что собираются объявить с такой торжественностью немецкие посланцы.

Барабан умолк, мушкетёр сложил палочки, писарь вытащил из-за подкладки кафтана бумагу, развернул её и стал читать:

«По указу его императорского величества, королевские гетманы Пльзенского края сим приказывают и постановляют, чтобы подобно тому как приговор высшего уголовного суда в том виде, как его императорскому величеству благоугодно было утвердить его, был или будет оглашён в столичном городе Праге и в краевом королевском городе Пльзене, а равно в прочих краевых городах королевства Чешского, упомянутый приговор был также, имея в виду непокорных и мятежных ходов, нарочито оглашён и во всеуслышание прочитан во всех ходских селениях во владениях высокородного господина Максимилиана Ламмингера барона фон Альбенрейта, что настоящим и приводится в исполнение».

Многоголосый гул, не сразу смолкший, когда писарь начал читать, почти мгновенно стих, как только выяснилось, что должны объявить верховые. Раздалось несколько возгласов изумления, и наступила мёртвая тишина. Все взоры были прикованы к чтецу. Дряхлый Пшибек протиснулся к самому всаднику и, склонив голову, приставил к уху ладонь. Рядом

с ним Манка, замирая от страха, ждала, что прочтут об её женхе.

Искра стоял в задних рядах, возле него — бледная и дрожащая Ганка. Она забыла о дражиновском госте, о детях, обо всём на свете. Невдалеке старая Козиниха держала за руку Павлика. Её пожелтевшее за последние месяцы морщинистое лицо было сейчас серо-синим.

Писарь громко читал пространный приговор, в котором приводились также и мотивы решения. Уголовный суд признал трёх главнейших и опаснейших бунтовщиков и зачинщиков, а именно: Эцля из Кленеча, Грубого из Дражинова и Яна Сладкого из Уезда, заслуживающими смертной казни, но его величеству императору, по милосердию своему, угодно было повелеть, чтобы только один из них был предан казни, вследствие чего суд, поскольку упомянуый Криштоф Грубый умер естественной смертью, решил, чтобы смертной казни черёз повешение был предан Ян Сладкий из Уезда, по прозвищу Козина, каковое решение достославного уголовного суда основано на том, что названный Сладкий, он же Козина, является весьма красноречивым, а следовательно и крайне опасным, и к тому же наиболее закоренелым бунтовщиком, так как он не пожелал просить помилования.

Ганка не слыхала последних слов. Смертная казнь... Этого было достаточно. Она вскрикнула и, как подкошенная, рухнула наземь. Чтение на минуту прервалось. Все столпились вокруг жены осуждённого. Женщины начали причитать, с их жалобными воплями смешивались крики Павлика и Ганалки, рвавшихся к лежащей без чувств матери.

Искра приподнял Ганку, одна из соседок помогла ему, и вдвоём они отнесли несчастную женщину в ближайший дом, чтобы привести её в чувство. За ними, еле передвигая ноги, неуверенно плелась

старая Козиниха. У неё рябило в глазах, шею ей сводила судорога; она не могла облегчить себя ни криком, ни плачем; она была совершенно сражена неожиданным ударом.

Писарь продолжал читать перечень свирепых кар. Весельчак избежал петли, но был осуждён на десять лет крепости в Комарно; скрывшийся от суда Брыхта — на два года каторжных работ; Сыка и молодой Шерловский — на год строгого тюремного заключения каждый. Остальные, приговорённые судом на более краткие сроки, монаршей милостью освобождены от наказания.

Ламмингер был так уверен в укрощении ходов, что послал писаря и мушкетёра-барабанщика без всякой охраны. И действительно ни один кулак не поднялся в ответ на свирепый приговор, и панские глашатаи удалились без помех, не провожаемые даже выкриками. Одни, точно окаменев, глядели им вслед, другие только, когда они были уже далеко, обрели голос и облегчили себе душу негодующими возгласами.

Множество народа набилось в дом, куда унесли жену Козины. Женщины плакали, да и мужчины не скрывали волнения. С болью в сердце смотрели все на молодую женщину, медленно возвращавшуюся из глубокого обморока к страшной действительности. Некоторые, впрочем, не дошли до горницы, а остановились на крыльце, где сидела на ступеньках старая мать Козины. Она сидела с опущенной головой, глядя в одну точку, не видя и не слыша ничего.

Вся в слезах смотрела Манка Пшибек, как соседки под руки вели домой Ганку и её свекровь. Рядом Искра Жегурек нёс на руках Ганалку и держал за руку плачущего Павлика. Ах, что такое год тюрьмы по сравнению с тем, что выпало на долю Козины!

Манка почувствовала, как на неё упали первые капли дождя. Прошумел в листве ветер, и гром, доносившийся прежде издалека, загрохотал над самой деревней. Манка поспешила домой. Войдя в горницу, она тотчас же хватилась деда. Его не было ни здесь, ни во дворе, ни у соседей. Она выбежала за ворота, и тут кто-то сказал в ответ на её расспросы — «пошёл туда» и указал в сторону Тргапова.

Куда же он пошёл? Ведь он теперь почти не выходит из дома, разве только к соседу. И вдруг — в Трғанов! К кому? Манка кинулась за дедом. Итти за ним пришлось недалеко. На пригорке, откуда виден был трғановский замок, сгорбившись и опираясь на чекан, стоял в белом ходском жупане старый Пшибек. Ветер, трепавший кусты на меже, развеивал длинные седые волосы старика, но он не чувствовал ни ветра, ни дождя, не слышал грома. Лишь когда молния багрово-синим палажом рубила небо, он поворачивал голову, следя за её зигзагами.

— Что вы тут делаете? — окликнула его Манка.

Старик оглянулся на неё и указал высохшей рукой на замок.

— Жду, когда туда ударит божий гнев. Туда должен ударить гром, в этого немецкого злодея...

— Ой, что вы, дедушка!

— Или нет бога, девочка, нет правосудия на небе, как нет его на земле?

Манка испугалась. Она понимала, что гнетёт душу деда. Как бы не помутилось у него в голове... Она решила не оставлять его одного. Над головами деда и внучки свирепствовала гроза. Молния непрерывно вспыхивала в тёмном небе. Но ни разу она не ударила в белое гнездо у подножия когда-то вольных ходских гор.

Наступила осень, а господа всё ещё оставались в Трганове. В прежние годы сюда в эту пору съезжались на охоту многочисленные гости, было оживлённо и шумно. В этом году охота ещё не начиналась. Трудно было понять, зачем немец торчит здесь, в этом гнезде, попожем скорее па монастырь или крепость.

Тихо было в замке — и в господских покоях, и в служебных помещениях, и во дворе. Ворота и калитки были всегда на запоре, словно в ожидании неприятельского штурма. Привратник днём ни на минуту не отлучался со своего поста, а на ночь ставили нескольких сторожей. Баронесса уже давно не выходила из замка и проводила всё время в своих покоях или в замковой часовне. Барон выезжал довольно часто, чаще всего в Кут, но никогда не ездил один, как в прежние времена, а всегда в сопровождении нескольких всадников. Но напрасно пытался бы кто-нибудь прочесть на его лице страх. Оно всегда оставалось одинаково спокойным и холодным. Казалось даже, что барон повеселел и доволен.

Ещё бы не быть довольным! Уже вторая страда проходит как нельзя лучше. Уже второй год, как на ходов наложены новые повинности, и везде тихо. Привыкают. В прошлом году ещё были кое-где случаи неповиновения, в этом — нигде ничего. Конечно, бунт — неприятность, но эта неприятность уже окупается с лихвой, а суровые кары принесут свои плоды. Гордый народ укрощён, ходы станут такими же, как все крепостные. Без возражений выслушали они приговор пражского уголовного суда, а вскоре явились с повинной и бежавшие, которые были осуждены заочно. Явился Брыхта, пришёл и Шерловский, два величайших упрянца. Теперь они несут последствия

своего упрямства. Брыхта знает теперь, как хоронить господскую плётку; знает это и Эцль, тот, что здесь, под самыми окнами замка, произносил возмутительные речи. Пусть вспоминают под звон кандалов о своей нелепой затее!

А Козина? правильно решили в Праге, совершенно правильно. Так ему и следует. Этот чешский мужик был не в меру горд и не в меру опасен. Вот бы кому быть доктором прав! А как его тут любят! Из всех деревень приходили старики просить, чтобы его помиловали. И так приставали!..

Барон велел пустить их в замок, но как же он их отчитал, когда они стали просить! Значит, они всё ещё не поумнели, если продолжают заступаться за главного бунтовщика, виновника всех несчастий?

Ещё раньше стариков приходила в замок старая мать Козины. Барон запретил впускать её, и с раннего утра до полудня она стояла, как изваяние, у ворот и простирала свои старческие руки к окнам замка. Так стояла она до полудня, так стояла она и после полудня, когда, не зная о ней, пришла молить о пощаде для мужа молодая Козина.

Жалко было смотреть на несчастных просительниц. Даже выдавший виды привратник не мог без содрогания глядеть на них и проклинал в душе жестокосердого пана. А барон ещё приказал ему прогнать обеих женщин... Но он не гнал, а только уговаривал их: всё равно, ваши просьбы напрасны...

Больше никто не приходил к воротам траповского замка. И в замке юпать стало тихо. Всё было, как прежде. Только владелец замка стал подозрительней и следил, чтобы ночные сторожа не засыпали ни на секунду. С тех пор, как был назначен день казни, барон фон Альбенрейт чувствовал себя не совсем уверенно. Он опасался, что ходы могут отомстить ему за Козину.

Приметы, по которым Козина гадал о жизни и смерти, не солгали. Томительная неизвестность кончилась. Суд решил так, как ожидал сам Козина. Тем не менее он был сначала потрясён. Но не надолго. Им овладело какое-то необъяснимое спокойствие. Он даже почувствовал облегчение: по крайней мере нет той неизвестности, которая не переставала терзать его ни днём, ни ночью.

Когда тюремщик сказал ему, что его повезут в Пльзен, Козина обрадовался. Он догадывался, зачем это делается: Пльзен ближе к ходам, чем Прага, и казнь в Пльзене должна служить для них устрашающим примером. Ну, что же! Пусть ходы собственными глазами увидят, как поступает немец. Все знают, что Козина из Уезда не вор и не убийца. Все знают, за что его осудили на смерть. Ни его самого, ни род его виселица не опозорит, и ходы не забудут Козину.

Из Праги в Пльзен его везли несколько дней. В оковах, на старой телеге, под ноябрьским пасмурным небом. Он уже около недели сидел в пльзенской тюрьме, когда однажды, в необычный час, загремели засовы, открылась дверь, и на пороге показали — мать божия! — Ганка с Ганалкой и мать с Павликом...

Под низкими сводами темницы прозвучали возгласы, в которых радость смешивалась с горем, слова с рыданиями. Торопливые, отрывистые фразы не вмещали чувств, рвавшихся наружу. Мать и жена припали к груди Козины. Он прижал их к себе и склонился к детям. Они не узнавали его; с удивлением и страхом смотрели они на исхудалого, бледного человека в изношенном жупане; цепи, гремевшие на его ногах, пугали их. Мать по очереди брала их на руки, поднимала к лицу незнакомого человека и дрожащим от слёз голосом

говорила, что это отец, их отец... А он обнимал их, ласкал и целовал...

Кто-то выступил из тьмы. Женщины о нём забыли, узник в первом порыве радости его не заметил. Это был Искра Жегурек. Козина взволнованно протянул руку старому другу.

Усевшись на своё убогое ложе, Козина посадил обоих детей к себе на колени. Они уже стали привыкать к нему, не так боялись, а Павлик как будто начал узнавать отца. Козина слушал их лепет, потом обращался с расспросами к жене и матери. Ганка на мгновенье отвлеклась от тяжких дум. Ян сидел спокойно, шутил с детьми, как всегда, кандалы не напоминали о себе. Молодая женщина забыла, что это тюрьма... Но тотчас же опять вспомнила всё. Притихшая не надолго боль снова впилась ей в сердце. Ганка залилась слезами, в ответ раздались глухие рыдания старухи.

Стоявший в стороне тюремщик напомнил, что уже пора — время прошло. Как? Это ужасно! Не успели увидаться, перемолвиться двумя словами, и снова их разлучают! А они столько думали сказать друг другу!.. Хорошо ещё, что завтра им разрешено опять притти к нему.

Осуждённый остался один. И только теперь, после того, как он прижимал к себе жену и мать, после того как он держал на коленях детей, а потом вместо любимых лиц его снова окружила чёрная пустота темницы, Козину охватил ужас...

На другой день он снова увидел своих, и снова время пролетело со страшной быстротой, не дав им опомниться. Они простились с ним — надо было возвращаться домой, — так им строго-настрого приказывали немцы... Ещё раз всё-таки они надеялись повидать его, но это будет, когда уже...

Бежало время день за днём, и неумолимо приближался двадцать восьмой день ноября. Напоминанием об

этом дне был приход священника, явившегося приготовить осуждённого к последнему земному страстеству.

Набожный ход встретил его почтительно и так же почтительно выслушал слова напутствия, кивая в знак согласия головой. Но когда священник заговорил о господах, Козина нахмурил брови.

— Кто, ваше преподобие, больше виноват — тот, кто защищает свои права, или тот, кто обкрадывает людей, издевается над ними, обращает их в рабов и убивает мужей у жён и отцов у детей?

Священник видел, что здесь он ничего не поделает. Он не стал уговаривать узника и сказал только:

— Предоставь, сын мой, всё это богу. Он наилучший и наисправедливейший судья.

— Да, бог нас рассудит... — с глубоким убеждением ответил нахмурившийся ход.

XXIX

«Из Льготы, Кичева, Тлумачева и Стржа по четыре, из Поциновиц, Медакова и Постшекова по шести, из Кленеча восемь, а из Уезда и Дражинова по десяти человек послать в Пльзен, чтобы они собственными глазами видели, какая кара постигнет бунтовщика Козину. И каждый пусть возьмёт с собой своих детей, мальчиков и девочек, чтобы и они до самой смерти помнили о том, что увидят в Пльзене».

Так гласил приказ барона фон Альбенрейта. Старосты всех ходских деревень получили строжайшее распоряжение проследить за неукоснительным исполнением этого приказа, дабы из поколения в поколение передавалось, как были наказаны ходы за неповиновение тргановскому немцу.

Ламмингер не был вполне уверен, что его по-

слушают, когда отдавал этот приказ. Но когда ходские телеги длинной вереницей въезжали в тёмные городские ворота Пльзена, можно было подумать, что он действительно «научил их повиноваться». Ходы съехались, согласно приказу, в Домажлицы, а оттуда под надзором баронских чиновников двинулись в дальнейший путь. Был холодный, пасмурный день, когда они добрались до Пльзена. Люди выбегали из домов, чтобы взглянуть на этих свидетелей поневоле, молва о которых успела разнестись повсюду. С сочувствием и любопытством смотрели они на рослых людей в кожных или плащах и барашковых шапках, угрюмо сидевших на телегах вместе с детьми всяких возрастов. Дети, не бывавшие до сих пор за пределами уединённых горных селений, широко открывали глаза при виде городских диковинок.

Казалось, немец мог быть доволен. Но он не слышал, что говорили в ходских домах, когда был объявлен его приказ. Он не мог заглянуть в душу сидящим на телегах людям и не знал, почему они послушали его. Они ехали, чтобы ещё раз увидеть непреклонного защитника их прав, отдать последний долг мученику. Ламмингер не знал, что всю дорогу ходы говорили о Козине и только о нём, и каждое их слово было словом сочувствия и горячей хвалы. Кутский управитель Кош и пуркраби, которого когда-то держал в плену Матвей Пшибек, отлично понимали, о чём думают и говорят ходы, но когда они подъезжали к телегам, разговоры тотчас же умолкали и ходы упорно глядели в землю.

На последней телеге ехал старый Шерловский с Пайдаром. Пайдар вспомнил о других осуждённых — о сыне Шерловского, о старосте Сыке, о пылком Брыхте и Весельчаке-Эцле.

— Они сейчас в оковах, но им, пожалуй, лучше, чем нам, — сказал он.

— Лучше всех Матвею Пшибску,— ответил Шерловский.

В Пльзене было необычайное оживление. Множество народа съехалось и сошлось посмотреть на казнь ходского крестьянина, о которой заблаговременно было объявлено в Праге и во всех краевых городах Чешского королевства. Улицы кишели людьми. Там и сям мелькали белые мундиры солдат, патрулировавших по городу.

Кош и пуркраби поместили ходов на постоялом дворе. Старый Шерловский наскоро поел после дороги и хотел отправиться в город, но не прошло и минуты, как он вернулся и с возмущением рассказал, что его не выпустили из дома, что их всех стерегут солдаты. Вместе с Пайдаром и ещё несколькими стариками он пошёл к Кошу просить, чтобы их пустили в город; они попробуют повидать Козину и проститься с ним. Кош свирепо набросился на них.

— Увидите его завтра на площади! Нечего вам к нему ходить! Ишь что придумали! Чтобы он напоследок опять наврал вам с три короба? Мало вам ещё? Опять затеваете своё? Нечего шляться, сидите тут! Так мне приказано.

Ходы были возмущены до глубины души. В клетке! Заперты в клетке, с голыми руками! Ну, а жену Козины и его мать — неужели этих несчастных тоже не пустят к нему?

Ещё три дня тому назад Искра Жегурек запряг пару гнedyх, вырощенных самим Козиной. На телегу уселись Гапка с детьми, старая Козиниха и Дорла. Волк тоже не пожелал остаться дома и долго бежал за лошадьми, пока, по просьбе Павлика, его не взяли в телегу.

— Он всегда любил его,— сказал Искра и освободил кудлатому псу место рядом с собой.

За телегой Козины ехала другая. Там сидело не-

сколько старых соседок; все они, как и женщины на первой телеге, были в траурных платьях. Они ехали, чтобы быть подле матери и жены Козины в последние страшные минуты. Рядом с ними сидел старый Пшибек с Манкой, которой, несмотря на все старания, не удалось удержать его дома.

В ту самую минуту, когда ходы на постоялом дворе вспоминали жену и мать Козины, неожиданно открылась дверь, и вошёл Искра Жегурек. Его тотчас же обступили. Оглядываясь по сторонам, Искра рассказал, что к ним никого не пускают, что его часовой пропустил только благодаря его ходской одежде. Жене и матери Козины разрешено посещать его дважды в день. Он, Искра, тоже был у Козины. Ян держится твёрдо и всё время успокаивает жену и мать.

— А от детей его не оторвать... Как ни крепись, а нельзя не заплакать, когда видишь, как он гладит и целует ребят. И Ганке он наказывает воспитать их как подобает, чтобы они не забыли отца, чтобы Павлик вырос настоящим ходом...

Рассказчик остановился. Слушатели тоже были взволнованы. Помолчав с минуту, Искра продолжал:

— И вас он всех вспоминал. Просил, чтобы простили ему, если он кого из вас чем обидел. И чтобы не забывали о ходских правах. Спрашивал ещё, тут ли в городе Ломикар. Я сказал, что Ломикар приехал, как и мы, третьего дня. Ян воскликнул тогда: «Приехал поглядеть на меня. Господи, укрепи меня завтра, чтобы не посмеялся немец над ходом!»

Рассказывая об этом, Искра вспомнил о происшествии, которое случилось с ними, когда они подъезжали к Пльзену. У самых городских ворот они столкнулись с каретой Ламмингера. Когда старый Пшибек узнал, кто едет в карете, он поднялся во весь рост на телеге,— откуда только прыть у него взялась, как у парня! — и, грозя кулаками, принялся осыпать немца проклятиями. Манке и старухам-со-

седкам немалого труда стоило усадить старика. Счастье ещё, что сам тргановский злодей ничего не заметил.

— А Волк! — вернулся к своему рассказу Искра.— Вы бы посмотрели, как он скакал и лизал Козину! Мы уже уходим, зовём его, а он ни за что. Лёг и лежит. Не идёт — и всё тут. Так и остался там...

— Ты ещё будешь у Козины? — спросил Шерловский, и когда Искра ответил, что, вероятно, будет, все наперебой принялись просить его, чтобы он передал Козине их поклоны и рассказал ему, как им тяжело, что они не могут проститься с ним сами.

Ноябрьские сумерки спустились на королевский город Пльзен. Вечер был холодный, дул ветер. Городская площадь словно вымерла. Тихо, ни звука вокруг. В окнах зданий темно. Дома, высокие башни ратуши, огромная церковь на противоположной стороне площади — всё тонуло в непроглядной тьме. Только мерцающий свет неугасимой лампы тускло пробивался сквозь готические окна церкви. У ратуши расхаживал часовой, закутанный в плащ. Недалеке, молча и не шевелясь, стояли несколько женщин в коричневых ходских шубах. Вдруг, словно по команде, они повернули головы к ратуше. Там за скрипели ворота, и показались две женщины с детьми. Ходки поспешили к ним. Ганка и старая Козиниха вышли из ворот тюрьмы. В последний раз провели они вечер с Яном. В последний раз! Никогда больше не вернутся те вечера, когда Ганка убаюкивала Ганалку, а Ян забавлялся с Павликом, и все они были так веселы и так счастливы...

Ганка озиралась по сторонам, как безумная.

— Ничего мудрёного, если бы она и впрямь потеряла рассудок, — шепнула одна из ходок соседке.

Ходки обступили обеих женщин. Ганка не хо-

тела итти домой, на квартиру; там ей душно, там всё давит её, говорила она. Её долго уговаривали, и под конец две женщины насильно взяли её под руки и повели. Но когда старая Козиниха, проходя мимо церкви, с плачем упала на колени, Ганка вырвалась у них из рук и опустилась рядом со свекровью.

В это самое время в каземате, освещённом двумя восковыми свечами, горевшими перед распятием на маленьком столике, мелькала на стене тень ходившего из угла в угол Яна Козины. Он был бледен, но спокоен. Искра передал ему через мать привет земляков. Это была для него большая поддержка. Это значило, что победа Ламмипгера не была полной и завтрашний день не сможет закрепить её.

Но что будет с ходским краем? И что будет с Ганкой, с детьми?

Мучительные вопросы, на которые Козина не находил ответа. Он попробовал молиться, потом присел на доски. Голова его склонилась сама собой на солону... Он проснулся только тогда, когда загремели засовы.

Ему принесли вино и еду, лучшую, чем обычно. Он едва прикоснулся к еде и выпил только немного вина.

Потом пришли мать, жена с детьми и Искра Жегурек. Сердце Козины сжалось от боли. Последняя встреча! До сих пор, когда они прощались с ним уходя, он мог утешать себя мыслью, что они придут ещё вечером и завтра и ещё раз завтра. Теперь у него не будет ни вечера, ни завтра... Ему понадобилось всё его мужество, когда он увидел искажённые ужасом и отчаянием лица матери и жены.

- Верьте мне, я умру не напрасно... Немец выиграл здесь, но там, на божьем суде, выиграю я, потому что наше дело правое и я умираю невинно..

Старая Козиниха схватилась за голову.

— И всё это я наделала!.. Ганка права, я всему

випой... Если бы я не прятала грамоты... Сын мой, прости мне!.. Прости и ты, дочка!..

Да, много нужно было, чтобы у суровой и твёрдой старухи вырвался этот крик. Сын шагнул к ней и, обняв рыдающую мать, взволнованно обратился к Ганке:

— Я прошу тебя, Ганка, не думай так и не вини мать ни в чём. Она несколько не виновата. Всё, что я сделал, я сделал бы и без неё. Ты ведь знаешь, что меня давно мучили эти мысли...

Он снова наклонился к детям, потом, точно вспомнив что-то, повернулся к жене и матери и просил простить его за то, что он причинил им столько горя.

— Воздай вам бог за вашу любовь и ласку! А ты, Ганка, возьми... он вытащил красные ленты из петлицы жупана и протянул жене.— Я всё время берёг их. Это была для меня единственная память о тебе, о доме, о вас всех... Мужья берут их с собой в могилу, но я не хочу, чтобы они побывали на...

Он замолчал, не желая произнести слово «виселища»...

Отворилась дверь, вошёл тюремщик, а за ним два солдата. Женщины отчаянно зарыдали, у Ганки подкосились ноги. Козина подхватил её, обнял мать, затем детей. Он долго не выпускал их, целовал и благословлял, порывисто, дрожащим голосом.

На площади собрались несметные толпы народа. Теснота была такая, что немислимо было пошевельнуться. Кто сюда допал, не мог больше сдвинуться с места. Во всех домах из окон высывались головы, крыши были усеяны любопытными. Особенная давка была у здания ратуши; войска с трудом сдерживали толпу, скопившуюся перед воротами. Тотчас же за цепью солдат стояла кучка ходов — шестьдесят восемь старых и молодых, рослых мужчин, угрюмых и неподвижных, с детьми и подростками. Тут же с заплаканными лицами стояли и ходки в длинных

коричневых шубах. Люди указывали на них и обменивались замечаниями, но они не слышали ничего и не сводили глаз с ворот ратуши.

Вдруг все они разом вздрогнули. За воротами слышался шум. Ворота раскрылись. Мерным шагом вышли оттуда солдаты, а за ними... он! Козина! Ходы заволновались. Только... действительно ли это он? Как непохож он на прежнего здорового, румяного Козину! Но идёт он твёрдыми шагами и голову держит прямо. Охваченные одним и тем же чувством, ходы рванулись вперёд, чтобы в последний раз пожать ему руку. Солдаты оттеснили их, но Козина их увидел и улыбнулся им.!

Стража остановилась у входа в ратушу. Осуждённый взглянул на небо, которого он так давно не видел. Небо было безоблачное, бледно-голубое. На балкон над входом вышло несколько чиновников. Один из них стал читать приговор уголовного суда, дабы все знали, в каких деяниях виновен осуждённый.

Едва он кончил чтение, как другой чиновник подал знак, и шествие тронулось дальше. В это мгновение один из ходов сорвал с головы свою мохнатую шапку и, простерев руку к Козине, воскликнул:

— Прощай, наш мученик!

Но среди общего говора и гула только ближайшие соседи слышали старческий голос Пшибека. Услышал его, видимо, и Козина, потому что он обернулся к старику и ещё раз кивнул головой ходам. Потом он зашагал рядом с священником. Позади шли его мать и жена, ведя за руку Павлика и Ганалку. За ними шёл Искра Жегурек и остальные ходы и ходки. По бокам маршировали солдаты.

Шествие медленно продвигалось от ратуши к Пражской улице. Впереди дорогу прокладывал взвод солдат. Непрерывно раздавалась дробь покрытого чёрным сукном барабана. С колокольни прозвучал первый удар похоронного колокола.

Багровый туман застилал глаза Ганке. Всё расплывалось в этом тумане, она слышала только пестрый шум и глухой рокот. Плакать она не могла. Ноги её дрожали, подгибались колени. Она зашаталась.

Козина остановился, а с ним всё шествие. В толпе передавали друг другу, что жена осуждённого упала, лишившись чувств. И шествовавшие по Пражской улице, и глядевшие из окон горожане не знали, чем выразить ей своё сочувствие. Вдруг в воздухе мелькнула серебряная монета, за ней другая, третья. За ними сверкнул золотой и тоже упал на колени к Ганке, которую чьи-то руки подняли и усадили на каменную скамейку у одного из домов.

Что это? Хотели проявить сочувствие или утешить золотом и серебром бедную крестьянку? Ганка порывисто сбросила деньги с колен, точно это были не монеты, а отвратительные насекомые, и закричала:

— Отдайте мне моего мужа!..

Её уговаривали остаться и не ходить дальше, но Ганка словно набралась новых сил и продолжала путь. Шествие миновало Пражские ворота и вышло на простор, где раскинулись фруктовые сады и огороды. Толпа растеклась вширь. Многие спешили забежать вперёд, к небольшому холму, где возвышалась виселица. Вокруг неё выстроились четырёхугольником войска. Внутри четырёхугольника, прямо против виселицы, впереди взвода солдат стояли городские советники и разные чиновники и сидели на лошадях офицеры и некоторые важные особы, и среди них — краевой гетман Гора и Максимилиан Ламмингер барон фон Альбенрейт. Плотнo закутавшись в тёмно-серый плащ, барон разговаривал с гетманом. Бледное лицо тргановского немца было, как всегда, холодно и спокойно. Только белёсые его ресницы задёрнулись быстрее, когда внутрь четырёхугольника вступил осуждённый.

Ламмингер пристально следил за ним, не спуская глаз. Шагает твёрдо. Не пал духом, упрямый чех!

Снова огласили приговор. Козина твёрдо выслушал его. Настала минута последнего прощания. Козина обнял мать, жену, детей.

Ни один мускул не дрогнул на лице Ламмингера при виде безысходного отчаяния женщины. Он наблюдал только за Козиной. Козина оторвался от семьи и направился к виселице. Всё так же твёрдо, не опуская голову, прямой и смелый... Вот он поцеловал поданный священником крест и ступил ногой па лесенку, ведущую туда, где его ждут палач и смерть. Всё замерло в гнетущей тишине. Тысячи людей, еле дыша, боясь пошевелиться, впились глазами в осуждённого. Только ветер шевелил перья на шляпах господ советников, и вдруг с той стороны, куда две ходки унесли детей Козины, тот же ветер донёс леденящий душу крик. Старуха-мать на мгновение лишилась чувств, по тотчас же распрямилась, как пружина, и обратила горящий взор туда, где...

Осуждённый остановился под виселицей, обвёл глазами город Пльзен и расстилавшийся за ним широкий край, потом оглядел толпу, которая, как живое море, волновалось вокруг холма. Он снова увидел земляков, пришедших проводить его в последний путь; они стояли, сжимая кулаки; у многих были слёзы на глазах; Искра громко всхлипывал. Увидел он жену и мать и задержал на них свой взгляд, затем повернул голову туда, где собрались чиновники и офицеры. Он искал кого-то и нашёл. Немца, сидевшего на вороном коне и не спускавшего глаз с помоста. Козина выпрямился во весь рост и посмотрел ему в лицо. Чиновники, офицеры, советники, палач — все зашевелились.

— Ломикар! — воскликнул Козина звенящим голосом, грозно прозвучавшим во всеобщей тишине; на бледном лице его в последний раз выступил румя-

нец, в последний раз вспыхнули огнём его глаза. Ломикар! Не пройдёт года и дня, и мы предстанем вместе перед престолом верховного судьи, и тогда увидим, кто из нас...

Офицер, распорядившийся на месте казни, встrepенулся. Блеснула шпага, палач выдернул из-под ног осуждённого скамейку, и голос Козины умолк. Яна Сладкого, по прозвищу Козины, не стало.

Краевой гетман, ошеломлённый неожиданным происшествием, что-то говорил барону фон Альбенрейту. Тот слушал его, бледный как смерть, но едва ли слышал. Губы его искривились в неуверенной улыбке. Только когда гетман несколько раз повторил ему, что на них все смотрят, барон опомнился.

Он бросил взгляд на виселицу.

— Висит... — с облегчением произнёс он и повернул коня.

Тысячи людей стояли вокруг холма на коленях. Не только внутри четырёхугольника, где находились ходы, но и далеко вокруг, в разных местах слышался громкий плач.

Когда всадники с трудом пробивались обратно в город, Ламмингер видел, как на него показывали пальцами, и со всех сторон до его слуха долетали возгласы:

— Вот он! Палач! Это он подстроил всё!

— Они ещё встретятся там, куда его звал Козина!

— Через год и день! Слышали? Не пройдёт года, ваша милость!

Всадники прищипорили лошадей.

XXX

До заката солнца висело тело Козины. Ходов уже не было в Пльзене. Гетман распорядился тотчас же отправить их домой; отряд солдат, по его при-

казу, сопровождал их далеко за город. Князя от гнева, усаживались они на телеги, но гнев их был направлен не против гетмана, а против Ламмингера. Если немец хотел, чтобы сегодняшней день врезался им в память, то он этого достиг. О, да, никто из ходов не забудет двадцать восьмое ноября, и память об этом дне будет переходить из поколения в поколение, пока останется на свете хотя бы один ход.

Весь ходский край содрогнулся от возмущения и горя. Несколько дней ходские деревни справляли поминки по казнённому. Никто не ходил на барщину, и даже переставшие стесняться немецкие наймиты не решались понукать новых крепостных барона фон Альбенрейта. И точно так же не осмелились они сказать хоть слово, когда из всех ходских деревень мужчины и женщины, старики и дети, все в траурных одеждах, сошлись в Домажлицах и отправились в загородную ходскую церковь отслужить панихиду по Яне Сладком, по прозвищу Козина. В старинной церкви собралось множество людей — не только ходов, но и домажлицких горожан, пришедших отдать последний долг Козине. Впереди стояли, преклонив колени, мать, жена и дети Козины. А в самом дальнем углу, под хорами, молился, тоже на коленях, какой-то маленький, невзрачный человек. Когда по окончании панихиды родные Козины проходили мимо, он низко опустил голову, чтобы его не узнали. Это был токарь Юст. Он только что отбыл наказание за подстрекательство и всего лишь несколько дней, как пришёл из тюрьмы домой.

Ламмингера в это время в Трганове не было. Он не вернулся из Пльзена в замок, а послал туда нарочного за женой. «Бойтся, нечистая совесть», — говорили везде.

Снег в этом году выпал рано. Зима была грустнее

и тоскливее, чем обычно, особенно в Уезде. Старый Шиббек опять впал в своё оцепенение. Не оживился он и с наступлением весны, не повеселел даже, когда после страды в Уезд пришёл, отсидев свой срок, молодой Шерловский и посватал Манку. Свадьбу положили сыграть той же юзенью.

С приближением осени старик начал как бы пробуждаться. Охотнее выходил он за ворота и медленно шагал к пригорку, откуда был виден Трганов. Там он простаивал целыми часами. Манка знала, что его тянет туда. В начале осени в замок неожиданно приехал Ламмингер, и старик ждал, когда же злобного немца постигнет божья кара. Особенно упорно стоял он на пригорке, когда поднималась буря, как бы веря, что вот-вот рассыплется баронский замок. А если Манка во время бури не выпускала его из дома, старик молча сидел на лавке, прислушиваясь к вою ветра, покачивал головой и беспрестанно поглядывал на дверь, словно ожидая, что кто-нибудь войдёт и скажет, что меч правосудия нашёл и поразил виновного.

Барон фон Альбенрейт приехал в этом году поздно, когда страда уже прошла. Говорили, что он приехал поохотиться. Но вот уже которую неделю жил он в замке, и только раз он побывал в лесу. Охота перестала его развлекать. Старый камердинер Пётр замечал, что барон подолгу рассказывает у себя по комнате и о чём-то размышляет. Как будто и здоровье стало ему изменять. Не раз Пётр видел, как барон, проходя по комнате, вдруг хватался за спинку кресла или за край стола. Да и сам барон жаловался иногда жене на зрение: часто какая-то радуга заволакивает всё перед его глазами, а ночью, если он внезапно просыпается, в глазах у него мелькают искры и молнии. Барон умалчивал при этом, что часто его мучают по ночам кошмары, но

старый Пётр, который спал в коридоре, слышал, как барон стонет и кричит во сне, а иногда он видел в щёлку при свете ночника, как его господин, привстав на постели, озирается вокруг вытаращенными от ужаса глазами.

Однажды ночью,— это было в конце сентября,— Петра разбудили стоны Ламмингера. Вскоре барон позвал его. Когда Пётр вошёл к нему, барон, весь в поту, прерывающимся голосом сказал:

— Подай мне календарь...

— Календарь, ваша милость? Сейчас?..

— Да... сейчас... я хочу знать, какое у нас сегодня число.

— Завтра двадцать восьмое. Я знаю, ваша милость, без календаря.

Барон вздрогнул и быстро спросил:

— Какого месяца?

— Сентября, ваша милость.

— Ах, да... Этот сон меня запутал. Даже в пот бросило. Дай мне другую сорочку.

Пётр вернулся в коридор испуганный. Что это мерещится барону? Двадцать восьмое — ну, так что? И вдруг он вспомнил. Тогда в Пльзене... это было двадцать восьмого числа. Да... немудрено, если это не выходит у него из головы.

Болезненные припадки никогда не продолжались у барона долго. Но они повторялись всё чаще, и барон становился всё более угрюмым, раздражительным и молчаливым. Тщетно жена его допытывалась, что с ним, тщетно уговаривала посоветоваться с врачом.

Тяжело и скучно жилось в эту зиму баронессе. Гостей в замке не бывало, а муж едва ронял несколько слов за день. Тем более была она обрадована, когда пришло письмо от младшей дочери, в котором Мария сообщала, что скоро приедет в Трганов вместе с мужем. Баронесса встретила этой

новостью вернувшегося из поездки в Кут супруги Ламмингер выслушал её сообщение спокойно, но вдруг криво усмехнулся и сказал:

— Дождусь ли я их...

— А что такое? — испугалась баронесса.

— Разве вы забыли, что тот мужик, Козина, позвал меня на божий суд?

Ламмингер засмеялся, но от его смеха баронессу бросило в дрожь.

Наступили сырые, туманные дни. Почти всё время моросил мелкий дождик. Барону опять нездоровилось. Ноявился шум в ушах; ему казалось, что он слышит звон колоколов. «Точно похоронный звон», — с усмешкой объяснял он жене.

В один из долгих, скучных вечеров баронесса сидела с мужем в столовой и, стараясь как-нибудь скоротать время, нагнулась над вышиваньем. Барон читал. Вдруг баронесса подняла голову: ей показалось, что муж порывисто дёрнулся в кресле. И как он вдруг побледнел! Барон бросил книгу на стол и уставился перед собой невидящим, неподвижным взглядом.

Несколько мгновений длилось томительное молчание. Наконец баронесса отважилась спросить супруга, что с ним. Голос жены заставил барона очнуться. Он вздрогнул, потянулся к брошенной на стол, раскрытой книге и слабым голосом произнёс:

— Прочтите это...

«Стоя на костре, уже подождённом рукой палача, читала про себя баронесса, — гроссмейстер ордена храмовников, Жак Моле, обратился громким голосом к папе Клименту и королю Филиппу и вызвал их до истечения года и одного дня на божий суд, как виновников смерти его и ста его братьев по ордену. И замечательно! Не прошло года, как оба они отошли в вечность — и папа, и король Филипп, скончавшийся в 1314 году, в 29-й день ноября».

Она уже давно прочла это место, но глаза её всё ещё были опущены в книгу. Она боялась взглянуть на мужа. Когда она в конце концов подняла голову, устремлённые на неё холодные глаза мужа были подёрнуты странной пеленой.

— Прочли? Что вы на это скажете? — спросил он, пытаясь скривить губы в обычную усмешку. — Можете готовить себе вдове платье... — добавил он, но вдруг оборвал себя на полуслове и прижал ладони к вискам.

Баронесса тщетно пробовала успокоить его.

— Может быть, вы что-нибудь сделаете для них? Окажете им какое-нибудь благодеяние? — неосторожно предложила она.

— Кому? Ходам? Этим мятежникам? — Ламмингер вскочил, как ужаленный.

— Нет, нет, не им... — поспешила поправиться испуганная баронесса.

— Кому же тогда? Кому, я вас спрашиваю? — раздражённо настаивал Ламмингер.

— Я думала... только... той вдове...

— Козине? В награду за дела её муженька? Надеюсь, вы не считаете его невиновным?.. И сейчас у меня тоже всё из-за него, из-за его дурацких слов... — добавил вдруг барон.

В эту ночь Ламмингер ни на минуту не сомкнул глаз, и несколько дней потом он жаловался Петру на головную боль и говорил, что у него холодеют руки и ноги. Но когда прекратились дожди и наступили прозрачные ясные дни поздней осени, ему стало лучше. А когда приехала молодая графиня Вертба фон Фрейденталь, тихие покои замка оживились. Вскоре прибыли и гости, приглашённые на охоту.

Баронесса была несказанно рада приезду дочери. Ламмингер тоже хмурился меньше обычного. Он стал общительнее и принимал участие в охоте. Как-то в

разговоре с зятем он даже похвастал, что чувствует себя хорошо и сон у него крепкий. Но дочь, давню его не видевшая, находила, что он сильно изменился и похудел. Она сказала об этом матери. Баронесса только вздохнула.

— Ах, дитя моё, сейчас ему лучше. Это ваш приезд его вылечил. А если бы ты знала, что было раньше! Всему виной его нелюдимость. Он избегает общества, и у него появляются всякие странные мысли...

— И речи у него бывают странные, — сказала дочь. — Вчера, когда собирались на охоту, он сказал графу: сегодня первое ноября; значит, я дожил все-таки до ноября, ну, а раз так, то... Он не договорил и засмеялся. Все смотрели на него, ничего не понимая.

Баронесса снова вздохнула. Скорей бы миновал этот месяц! Пройдёт год и один день, и тогда он, наконец, успокоится.

Охотники вернулись поздно вечером с богатой добычей. Несколько оленей и даже медведь! В замке было шумно и весело. Сияли огни, свет яркими потоками лился из окон в ноябрьскую тьму. После всех охотничьих приключений, после целого дня в лесной чаще столовая казалась всем особенно уютной. Шумный говор гостей заглушал треск поленьев в камине. Воздух был наполнен ароматом тонких блюд. Золотистое вино искрилось в хрустальных бокалах. Лихие охотники лихо и пили.

Ламмингер сидел за столом рядом с женой, лицом к окну, выходящему в сторону Крижиновского леса и Градека. Разговоры, вначале сдержанные и чинные, становились всё более оживлёнными, всё чаще врывается в них смех. Ламмингер был разговорчивее, чем всегда, и даже смеялся вместе с другими. Пил он

также больше обычного. Это не ускользнуло от внимания его жены; последнее время она замечала за ним эту новую слабость. Говорили больше всего об облате.

— Эх, хороши загоницики у вашей милости! — воскликнул один из гостей.

Ламмингер залпом осушил полный бокал.

— Хороши-то хороши, только и упрямцы же! Мне пришлось их долго дрессировать. Немало я потрудился, пока вельможные паны-ходы соизволили смирлостивиться...

-- Так это ходы? Те самые? — заинтересовался граф фон Фрейденталь.

— Да, те самые. Недавние бунтовщики. Краевой гетман мог бы рассказать вам, сколько войск он должен был послать против них...

Баронесса видела, как багровеет её муж под влиянием вина и разговора, и не знала, что делать.

-- Я и до сих пор не знаю, чем это кончится для меня, — добавил Ламмингер и захохотал. — Что вы так на меня смотрите, граф? Мне дали ведь срок: до истечения года и дня... Их предводитель... Поразительная гордость, поразительное упрямство! Стоит на эшафоте...

Баронесса заметила, как у Ламмингера вздулись жилы на лбу, и осторожно дотронулась до его руки, но он, не обращая внимания, продолжал, возбуждаясь все больше с каждым словом:

—...с петлей на шее и вызывает меня на божий суд! Нет, Козина, плохой ты был пророк! Год уже кончается, и ты там, а я назло тебе здесь...

Он разом умолк и откинулся на спинку кресла с бессильно свесившейся набок головой. Раздались крики. Опрокидывая кресла, гости бросились к Ламмингеру. Глаза его были открыты, неподвижные зрачки расширены. Он несколько раз протяжно вздохнул, из горла его вырвался хрип, и прежде чем стол-

павшиеся в испуге гости успели опомниться, ещё даже не дышал.

Граф фон Фрейденталь коснулся его лба. Лоб был липкий и холодный. Граф положил ему руку на сердце. Сердце не билось.

Напрасны были все попытки привести барона в чувство. Напрасно рыдали и ломали руки благородные дамы. Напрасно поскакали верховые в город за врачом.

Врач только подтвердил догадку, передававшуюся шепотом из уст в уста:

- Всё кончено. Удар.

Максимилиан Ламмингер барон фон Альбепрейт откликнулся на вызов Козины.

Поражённые ужасом, гости растерянно разошлись по комнатам. Пиршество оборвалось, умолк весёлый смех, погасли яркие огни. Только в двух окнах мерцал слабый свет. Это горели траурные свечи у изголовья мёртвого барона. А в коридоре сидел старик Пётр и, стиснув пальцы, испуганно шептал:

- Суд божий, суд божий!..

Когда на следующее утро старый Пшибек, опираясь на чекан, вышел за ворота, ему ещё издали что-то закричал Искра Жегурек. Пшибек не слышал, но Искра уже подбежал к нему и, еле переводя дух, крикнул:

- Ломикар умер!

И он рассказал, что немец схватился за сердце и повалился на бок в тот самый миг, когда он с насмешкой вспоминал предсмертный вызов Козины.

Старик сжимал чекан обеими руками и долго не мог выговорить ни слова. Наконец он поднял глаза к небу и произнёс:

- Есть ещё справедливость. Теперь я могу умереть спокойно.

В доме Козины плакали в это время женщины.

До них тоже дошла весть о смерти тргановского немца, и они вспомнили своего Яна...

А весть летела всё дальше по широкому ходскому краю. Всюду славили божий суд и вспоминали Козину. Весть летела и разрасталась в легенду, в предание, рассказывавшее, как Ламмингер кощунствовал на пиру у себя в замке и вдруг поднялась буря, с громом и треском распахнулись разом все двери и окна, и среди застывших в ужасе гостей медленно прошёл по столовой бледный призрак...

Барона фон Альбенрейта похоронили в склепе, в маленькой Кленечской церкви. В день его похорон старый Шерловский был в гостях у сына в Уезде. Когда раздался колокольный звон, он сказал Пшибеку, который вместе с соседями стоял на своём любимом пригорке и смотрел в сторону Кленеча:

— Много ли взял этот зверь? Выиграл наш Козина...

Выиграл Козина, но печаль не покидала дома Козин. Только много лет спустя, когда Павлик начал хозяйничать, а Ганалка стала невестой, вернулась в дом жизнь.

Вдова Ламмингера уехала сейчас же после похорон и в том же году продала тргановское поместье.

Никто не пытался больше восстановить старые ходские вольности, и в ходском крае действительно наступило *perpetuum silentium*. Но память о былой ходской славе осталась жива, и когда весь чешский народ томился в немецкой неволе, эта память поддерживала веру в лучшие времена.

Не забыли ходы и Яна Сладкого, по прозвищу Козина. Из поколения в поколение передавались и будут передаваться рассказы о нём, пока в прекрасном Шумавском крае, обильно орошённом ходской кровью, живут ещё потомки мужественных псоглавцев.

Странствуя в тех местах, я побывал и в Узде и пошёл посмотреть усадьбу Козины. Я наткнулся там на дряхлую старуху и в разговоре спросил её о Яне Сладком. Она исподлобья взглянула на меня и, видимо не доверяя незнакомому человеку, коротко сказала:

— Я ничего не знаю. А вот у нашего пасторителя всё записано. Я знаю только, что Козина был невиновен казнён. Погиб как мученик.